

Эфраим Баух

**ПУСТЫНЯ
ВНЕМИЕТ
БОГУ**

Роман о пророке Моисее



Эфраим Баух

**Пустыня внемлет Богу.
Роман о пророке Моисее**

«Книга-Сэфер»

2000

Баух Э.

Пустыня внемлет Богу. Роман о пророке Моисее / Э. Баух —
«Книга-Сэфер», 2000

Роман Эфраима Бауха – редчайшая в мировой литературе попытка художественного воплощения образа самого великого из Пророков Израиля – Моисея (Моше). Писатель-философ, в совершенстве владеющий ивритом, знаток и исследователь Книг, равно Священных для всех мировых религий, рисует живой образ человека, по воле Всевышнего взявший на себя великую миссию. Человека, единственного из смертных напрямую соприкасавшегося с Богом. Роман, необычайно популярный на всем русскоязычном пространстве, теперь выходит в цифровом формате.

Содержание

Начиная с лермонтовской строки...	6
Пустыня внемлет Богу	8
Предчувствие книги	8
Часть первая	16
На горе Нево	17
Глава первая	22
1. Непробужденность как полнота жизни	22
2. Око: сладкая улыбка и угроза	22
3. Пес по твою душу: пустыня	23
4. Яйцеголовая змея Гайя	25
5. Впервые: радость распахнутого пространства	26
6. Впервые: омут удушья	27
7. Впервые: очарованность одиночеством	28
Глава вторая	31
1. Черный ларец и черная дыра	31
2. Нил: водовороты – водяные смерчи. Облики недопроявленных существ	32
3. Море: пространство подобно пловцу на спине – лицом к небу	33
4. Голод к пространству. Кривая взлета и падения	34
5. Море и берег. Музыка и слово	35
6. Извержение из глуби вод многих. Народы моря	35
7. Копышающаяся нечисть под роскошью растительности	35
8. В пантеоне богов	37
9. Вода – незамутненное зеркало души	38
10. Ибрим-евреи и жрец Итро	38
11. Бойня	39
Глава третья	40
1. Загон. Первый гон колесниц	40
2. Водоворот ночной мистерии. «Мы, дети солнца...»	41
3. Восхождение к Горемахету	43
4. Из света во мрак: как падение в колодец	44
5. Ослепительное крыло вседозволенности	45
6. Причащение к тайнам земли и неба	47
7. Ты подобен мякоти плода, ускользящей в глотку смерти	47
Глава четвертая	49
1. Соты, хранящие мед и горечь вечности	49
2. Итро учится мыслить в движении	50
3. Равновесие и гон колесницы. Предчувствие падения или мощи рушащейся водопадом жизни?	51
4. Волны моря, стирающие второстепенное	54
5. Заключенные в копиях. Святилище богини Хатхор	56
6. Письменность, превращающая камень в живое растение и дающая побеги слов	58
7. Взлет к надежде и падение в бессилье	58

8. Хабиру-ибрим	59
9. Миф – вечный мавзолей	60
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Эфраим Баух

Пустыня внемлет Богу.

Роман о пророке Моисее

Начиная с лермонтовской строки...

Это всегда бывает однажды и внезапно. Оказывается, рядом существует не замеченный тобой мир, который развивается скрыто, как параллельный тоннель жизни, – и вот на каком-то перекрестке он пересекается с твоей жизнью и раскрывается перед тобой во всей своей загадочной глубине и реальной неотвратимости.

Так случилось со мной, когда семь лет назад я открыл уже написанные, состоявшиеся в пространстве 70-80-х годов, отсеченном от русского читателя «железным занавесом», романы Эфраима Бауха, живущего в Израиле: «Кин и Орман» (1982), «Камень Мория» (1982), «Лестница Иакова» (1987), «Оклик» (1991), «Солнце самоубийц» (1994). Новое произведение, которое сейчас перед вами, органично вписывается в задуманную писателем семилогию, которую он назвал «Сны о жизни».

В отведенный нам отрезок времени века двадцатого нередок феномен, когда книги приходят запоздалым пророчеством. Таковы эти романы о самых сокровенных переживаниях поколений времен Второй мировой и послевоенных лет, выверенные на оселке беспощадной правды и личного достоинства.

И вот удивительно: весь цикл погружен в трагедии, искания и обретения народа еврейского, но ассоциации с судьбами других народов – в том числе российского! – от романов Бауха неотторжимы. Неслучайно суть новой книги этого цикла вся проникнута строкой русского поэтического гения – «Пустыня внемлет Богу...».

Не стану пытаться охватить пересказом широчайшее пространство романа. Слово «пустыня» сродни слову «пустота». Но сколько же спасительных действий и мучительных драм, открытий и отважных свершений происходит на необъятностях той «пустоты»! Необъятна она сама, и необъятны – по историческому значению своему – события в ее пределах. Центральная фигура романа – пророк Моисей, содейвавший то, что для духовных лидеров разных времен может быть уникальным ориентиром: он не только вывел народ свой из рабства буквального, но и более того, отправился с евреями в сорокалетнее освободительное *путешествие* по пустыне – той самой, что «внемлет Богу». Да, освободительное, так как осуществлено то путешествие-скитание ради мессианской цели: избавить недавних рабов от рабского мировосприятия, рабских пут, сковывающих дух человеческий.

Как не вспомнить чеховской убежденности в том, что каждый из нас – каждый! – теперь и всегда должен по капле выдавливать из себя раба. Даже когда речь идет вовсе не о тех, кои только-только выбились из неволи буквальной. Чехов – ненавистник холуйства во всех его проявлениях – обличал презираемые им признаки невольничьей психологии, которую до конца, до последней «капли» вытравить, к сожалению, никак не удастся. Но Моисей всей мудростью, надеждой и мечтой своей стремился к воплощению в реальность благородного, святого своего предназначения. И об этом роман Эфраима Бауха. А вот еще ассоциация: до кошмара знакомые моему поколению поиски «врагов народа». Это происходило и в стране-рабовладельце, из которой пророк вывел своих соплеменников. Властительный вождь – изобретатель тех изуверств – был похож, пишет автор, на крокодила, пожирающего свои жертвы. И казни, казни... Страницы, будто воссоздающие памятные и нам злодейства, потрясут, я уверен, читателей.

Повторюсь: умение соединять прошлое, даже очень давнее прошлое с нынешним – особое свойство писательского дарования. Конфликты и борения, поражения и победы, разделяемые длиннейшими временными расстояниями, конечно, во многом различны. Но до чего же в действительности не только схожи, но и в чем-то совершенно аналогичны чувства и стремления, методы и средства достижения целей! Представления о жестокости и милосердии, о верности и коварстве, о чести и бесчестии, о грешности и святости так нам знакомы, потому что снайперски точно увидены автором и явились в книгу из «дальней дали», как будто из нашего бытия.

Образ пустыни, как того чистого, ничем не запятнанного «листа», с которого должна взять новый старт история освобожденного народа, – этот образ мастерски воспроизведен и одушевлен талантом писателя. Пустыня – вновь напомним: та самая, внемлющая Творцу! – это и наимудрейший собеседник Моисея. Их разговоры вобрали в себя пору воплощения в явь высочайшей миссии.

Эфраим Баух пишет об этом общении пророка с пустыней подробно и впечатляюще. Вот как ведет себя тот собеседник Моисея в их многолетнем диалоге: «Не переча, проявляет упрямство. Не споря, опровергает твои доводы. Не навязывается, но и не отстает от тебя... Беспредельно податлив и в любой миг обозначает границу, на которую твое любопытство натывается, как на стену. С милосердием, более похожим на насмешку, следит за тем, как твое любопытство пытается пробить брешь в этой стене. Может вовсе подолгу не откликаться, но его отсутствующее присутствие ощущаешь всегда». Таков постоянный собеседник Моисея – пустыня, по которой он поведет народ свой из неволи.

Как я уже подчеркивал, мастерство писателя делает зримыми – воспринимаемыми как лично знакомые нам – поступки и мысли едва ли не всех персонажей романа.

Значимость исторических и художественных открытий, пластичность описаний, умение мощно зачерпнуть *живой воды* в божественно испепеляющей сухости пустыни – это делает роман незаурядным явлением современной мировой прозы. Думаю, и вся семилогия еще ждет своего открывателя – критика ли, читателя, – истинного ценителя настоящей литературы.

Самуил Маршак часто цитировал лермонтовское четверостишие, которое считал одним из самых замечательных в мировой поэзии:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

«Четыре строки, но сколько в них сложнейших человеческих чувств, душевных состояний: одиночество и единение с целым мирозданием, надежды и потрясения счастливейшей возможностью вместе с пустыней внимать Господу!» – так не раз говорил Самуил Яковлевич.

И вот одна из четырех бессмертных строк стала именем романа, с нее он обретает свой путь...

Анатолий Алексин

Пустыня внемлет Богу

Предчувствие книги

1. Воды многие

Вечер предчувствуется пепельным успокаивающим светом неба. Море сизо-серое, нешумное, потрясшее шумеров, море филистимлян, море Эллады и Рима, море, впервые представшее прохладным сверкающим чудом взгляду иудейских колен, вышедших из раскаленного горла аравийских пустынь, – море отступило, обнажив лежбища черных базальтовых скал, покрытых ядовито-бархатной зеленью мха и водорослей, скал, подобных стадам морских чудовищ, погруженных в спячку.

Пляжи пустынны.

Редкие фигуры перебрасывают ракетками мяч.

Лаконично-костяной звук виснет в охваченном январской дремой воздухе. На плоско-пустынных пространствах берега, моря, далее – группки людей, одетых по-советски (слово уже исчезает из обихода), отчужденные от этих пространств и друг от друга; и только собачки, привезенные с тех скифских земель, носятся по пустынному пляжу явственной связью между группами.

На утоптанном песке у кромки моря ватага упитанных толстяков играет в футбол.

И в противовес им вдали – словно бы стремительно и легко обведенные линией Дега, на грани реальности и иллюзии – три лошади, три всадника, и в их случайных произвольных движениях – тайная свобода жизни.

И всегда это пространство, вечером или на холодном рассвете с невысоким слабым солнцем за облаками цвета тусклого непротертого жемчуга, среди которых проступают голубых небесных вод, кажется отчужденно прекрасным и влекущим вопреки настороженно замершему во плоти инстинкту самосохранения – переходом в иные, летейские поля, в иной ожидающий нас мир.

И миг этот с такой легкостью и естественностью приобщается к редким, лучшим, глубочайшим мгновениям долго прожитой жизни...

Воды многие – מים רבים.

Чад прибоя, примусный гул плитчатых волн. Чернь. Червление. Ветошь, обдающая камни пеной, вмиг набирает лунный свет, озаряет песчаный откос и падает на него высыхающими клочьями.

Опять на миг и навечно в беге моей жизни рождается миф плетется из мелочей, протягивается через тысячелетия, чтоб вновь – который раз – никем не схваченная, не закрепленная в словах – истерлась из памяти повесть, втягивающая в себя были, идущие по воде с низовым ветром с Ионического моря, с великой Дельты, с Крита и Родоса, Олимпа и Трапезунда, с Капри, с дальних Ницц и Венеций стоящих так легко и забвенно на большой и плоской средиземной воде. Всю суматоху минут и тысячелетий, бормотание дряхлых цивилизаций и клокастый дым отошедших эскадр, замыслы, подавленные в зародыше, и безумие, поворачивающее мир, как корабль, попавший в шторм и потерявший управление, весь мусор и бранчивость голосов, всю дремучую плесень времени несет к этому берегу долгая средиземная волна, *aqua mediterranea*.

Волны впопыхах срываются с источенных скал – как что-то забыли. Тороп и отороп.

Мы шли вдоль моря, уходили, вопреки
своему желанию, в беспмятство пустынь
на целое поколение,
нас окружали розы и тернии,
которые не мы растили,
ибо все выращенное нами было из памяти,
более похожей на фата-моргану
и потому не исчезающей из сознания
человечества.

Великие реки, уроженки Запада, текли
под азийскими ветрами,
мелея в меловых берегах,
и море сгущало их в пену,
в молоко, створаживающееся в семя жизни,
в нашу плоть,
и известь, выпадавшая в осадок и возносимая
ветрами, сгущалась в наши кости.

Море, всасывающее в свою ненасытную утробу
целые народы, растворяющее их в глубине,
чужбине своей, беспмятстве своем,
хранило нас в день тяжкого солнца,
в день невероятной слабости нашей,
хранило от пчел пустыни, мелких, как их укусы,
несущий неотвратимую смерть.

Ночь пустыни, как тёмная вода, обливает внезапным холодом, захватывая дух. Ночная вода – родниковый сон. Вибрирует, льется источник, ключ к жизни, вечное чудо пустыни.

Волосная струйка воды – нить этой жизни в отличие от мертвой струйки в песочных часах Египта.

Бурдюк – водяные часы Времени.

Тонкострунная музыка воды – в редких оазисах Синая.

Est in arundineos modulator musica ripis – есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках... Мелодия начала свободы.

После перехода через Тростниковое море – Ям Суф – раб превратился в мыслящий тростник.

Воду жизни мы несли от стоянки к стоянке – в бурдюках и кувшинах...

Раскопки. Древний водоем.

Цивилизации превращаются в прах, лишь кувшин, который хозяйка уронила на дно водоема, собиравшего воды пустыни и высохшего в тысячелетиях, повествует о мимолетном живом жесте, последующем огорчении и начавшемся в тот же миг вечном торжестве Истории.

Целые цивилизации мертвы, а жест этот, неловкость заревого утра человечества, когда Ривка или Рахель уронила кувшин, жив и пронизывает тысячелетия.

Так жив посвист ветра в пустыне и жажда познать, что там – за горизонтом: тревожное и неодолимое стремление ощутить свободу.

Кочевничество как смутное нащупывание инструмента, настроенного на будущее.

И именно звук упавшего на дно водоема кувшина, а не рев боевых труб народов, пытавшихся этим медным сотрясением слуховых извилин доказать самим себе, что они не провалятся в небытие, – звуковая память Исхода.

Вечно свежи страх и зов пустыни.

Соты городской цивилизации, колоссы и пирамиды кажутся беспредельными лишь внутри самих себя.

Но очень близко от каждого из нас – пустыня, стоит лишь переступить край цивилизации – и она весьма скоро сжимается шагреновой кожей, покрывается пеплом.

Память Исхода равна решительному отсутствию воспоминаний о нем, ибо она – жизнь, а не память о ней, и потому – вечный архетип человечества на этой земле.

Перегруженная память рождает эту жадную торопливость воспоминаний.

Учишься понимать гениальность События: как в этих тысячелетних наносах, суете, непостоянстве, мельтешении, ветоши крепится память Книги, нечто постоянное и вечное.

Более вечное, чем обдающий ознобом тайны и глубины времен Сфинкс; не титаническая – *тектоническая работа человеческих рук.*

Книга Книг – тектоническая работа человеческого духа.

2. Потерянное толкование

Потерянное толкование о потерянном поколении?

От этих строк, тысячебуквенных, призрачных, прозрачных, тысячезрачных, как стрекозы, и столь же хрупких, но выдерживающих испытание вечностью, – ощущение мощи и забвения.

Как сохранились столь слабо закрепленные знаки в тысячелетиях?

Время дышит в этих крючках и закорючках, и они возвращают нам тысячеглазие тех, кто вглядывался в них, ища смысл своей жизни, мира, Бога...

Скалы хранят следы движения массы. Безмолвие среди кажущихся обугленными скал обжигает настороженный слух существа, ощущающего опасность гибели в этих пустынных местах, спасающегося шумом, нахлестом, говором огромной массы. На миру и смерть красна.

Но ветру это неведомо.

Ветер – Вечный жид, кочевник – продолжает раздувать истлевшие остатки шатров, золу костров Исхода, ищет следы ушедших, стонет, как щенок, отбившийся от своих. И, разъярившись, врывается в города, где, по смутному его подозрению, прячутся эти «свои» – вросли, как мох, плесень, – и он рвет и мечет.

Ветер, как слепец, жадно набрасывается на безымянные лица, мгновенная вспышка солнца в разрыве облаков высвечивает их. Но так же, как ветер, солнце, время бессильны сохранить движение этой массы, так и перо бессильно.

Бессилие рождает миф.

Небеса хранят свое изначалье и свою память в нашем пробуждении.

Великое поколение – вот мы.

Великое поколение – и вот нас нет.

Истинным ли было в нас желание вырваться на свободу, бросить вызов этим горшкам с мясом, жалости к себе, клочку земли и крыше над головой, связывающим по рукам?

Прозрачное небо птиц, свободы, лунная тоска, ветер, внезапно на глазах умирающий в дюнах и так же внезапно поднимающийся, подобно змею, песчаную голову смерча, – все это присутствовало в наших блужданиях в пустыне, именуемых Исходом, а по сути являющихся нашей жизнью.

Целое поколение «безмолвствует на мертвом языке».

Дано Свыше – сорок лет блуждать по пустыне, пока не вымрут. Главное, цель – земля обетованная.

Путь как бы не в счет. Его стараются забыть, проскочить, отбросить в прошлое. А между тем это целая неповторимая жизнь. Именно в пути сложилось все, что стало путеводной звездой человечества.

Человечество живет в Исходе, умирает в земле обетованной. И где-то там, в начале, старые еврейки берут свои перины и прячут в них серебро и золото египтян. Перьями, предназначенными для полета Ангелов, Элияу, Ханоха, набивают перины, которые в будущем станут символами погрома.

Исход – это выделенность. И все они, эти типы, великие и малые, неизвестно где похороненные, как и Моисей, озаменовали своей безымянной цепью великую жизнь потерянного поколения.

Потерянного ли?

Это о поколении, которое впервые в истории вышло из рабства к свободе, перешло Красное море посуху, пришло к Богу, получило скрижали у подножья горы Синай?

На долю какого еще поколения выпали такие вселенские события?

Кто я, сорок лет блуждавший в иных землях?

Что означает для меня 1977? Год приезда в Израиль.

Песочные часы, перевернувшие время моей жизни?

Ищем место для ночлега. Абсолютная тишина Синая поглощает рычание автомобильного мотора.

Вдалеке, у подножья базальтовых гор Синая, разгуливают стаи птиц.

Приближаемся – люди.

Не так ли видится движение народа, Исход, осоловевшим от приближающейся дремоты глазам человечества?

Чекан Синайских скал, как чекан языка Книги Книг.

Легок сон на этой земле, как легок ее ночной воздух, высвеченный лампадой луны – от вод средиземных до гор Моава.

3. Сны

Сон – потеря интереса к миру или, наоборот, забытый нами способ добраться до его сущности?

Сон – продолжение истинного подпольного, скрытого, но напрямую прикасающегося к душевным истокам нашего мира.

Сон – это пуповина к истинной нашей сущности.

Тайна Исхода в том, вероятно, что он тоже оттуда – из мира истинной сущности.

Сон – коридор в мир ушедших и, скорее всего, односторонний, в нашу сторону: мы видим их, дорогих ушедших, просачивающихся к нам, живущих рядом с нами, ибо они-то были по эту сторону, они знают, куда идти, что делать; мы же по ту сторону не были, для нас там какая-то сплошная тьма или какие-то мифические просветы, но все это не реально, не пережито, и даже знаменитый тоннель – всего лишь только начало жерла, ведущего в тот мир...

Человечество не помнит сна об Исходе, не хочет думать о нем, но само упоминание об Исходе не исчезает, ибо слишком глубоки его корни в нас, касаются самого сокровенного, которое мы, не владея истинным ключом к нему, называем *жизнью*.

Это бывает лишь однажды в вечности. И не дает покоя. Это – му-чительная потребность припомнить самое важное и потому удивляющее нас тем, что забыто. За этим кроется столь коренное, что обнажение этого корня подобно прикосновению к нему ледяного лезвия топора. Это – холод предела существования, внезапно подкатывающий к горлу пятью тысячами лет посреди обычного скудного дня, это как смерть, не выбирающая особого времени, которая может грянуть в самый неподходящий момент, на пиру или в отхожем месте.

Прибегая к современным понятиям, эту навязчивость Исхода можно было бы назвать *психоаналитическим сеансом* человечества.

И нередко беспамятство в отношении Исхода вводит человечество в состояние, подобное безумию, ибо внезапно оно ощущает себя уже умершим, без памяти собственного существования.

Наплыв беспамятства, отчетливо ощущаемый, внезапное чувство незнания, кто ты, откуда пришел, равносильно потере сознания, отрицанию себя.

Шутка ли, забыть о единственно важном – встрече с Богом.

Быть может, существует Божественный цензор, стирающий из нашей памяти слишком опасные мгновения приближения к Богу, запутывающий, иронизирующий и в то же время действующий столь ненасильственно, что это принимается как само собой разумеющееся?

Провалы в памяти – цензура Бога.

Но приступ, а точнее, приход к самому себе, проходит, и человечество стесняется своей короткой памяти, и тогда обрушивается с критикой не на собственное беспамятство, а на объект – Исход.

Что такое *сны о жизни*? Желание от нее сбежать? Тогда это трижды чудо, что сновидец остался в живых, ибо люди спят особенно крепко, когда гибель стоит у порога.

О, какой сон охватил города и веси Ханаана! Словно хотели переспать развивающийся и глухо сотрясающий землю Исход.

Кратер уже дымился, но лица людей были сожжены... сном.

Народ, идущий из Египта, пустыни – народ низин, взгляда и привычек низин, – видит надвигающуюся с севера, нависающую громаду гор, толпище высот, престолы неба.

Нам снились в страшных снах ждущие нас высоты Ханаана.

Бесконечное переживание пространства – обостренное чувство страха, незащитности, одиночества. А впереди – испытание горами, страной обетованной, как бы повисшей в небе. Как горы Моава в неверных лучах синайского солнца, подобные облакам: то растворяются, то сгущаются.

Недаром Моисей повел народ через горы Моава: чтобы перед спуском к Иордану народ, как и он с горы Нево, последний раз в его жизни, увидел страну обетованную *сверху*, с высот, а не из низин.

Хоть мы создания рук Его, Он абсолютно не знал нас, как впервые родившая мать беспомощно смотрит на неизвестно откуда возникшее существо, не зная, что с ним делать, впадая то в ярость, то в бессилие. А ведь по Своему образу и подобию творил!

О, лунный ирреальный, пробирающий ознобом свет возносящихся в ночь железных гор Синая – притягивающая гибелью и последней правдой звенящая тишина внезапных пропастей... Долины, кажущиеся мертвыми, днем сухие, как горшки гончара после извлечения из опаляющего дыхания печи. Лунатическая тяга, будившая Моисея, входившая в его сны.

4. На краю кратера

Велика печаль отсутствия – она обжигает нас, изливается из нас лавой.

Погасший кратер, на краю которого мы живем, зарождает беспокойство, тревогу, и вот – огненное извержение: из темных спрессованных залежей Истории – лава прорыва: Исход...

В утлой хижине, в низинах Раамсеса,
мы любили друг друга,
когда Моисей шел из пустыни в Египет,
отряхивая прах дороги, как страх души,
несомый мощью Его призыва,
усиленной внутренним нежеланием
и сопротивлением этой мощи.
А мы не знали, что утлая наша хижина
уже качается подобно не менее утлой лодке,
влекомой шлейфом волн уже разворачивающегося вовсю корабля
времени.
Кратер глухо ворчал.
Кажущееся благополучие клубилось облаком над домами
Раамсеса,
и мы любили друг друга в покоях дворца.
И тогда весь Исход сужался
до слабого пламени свечи,
и просвеченная нежностью
ладонь твоя гасила ее,
и платье твое шумело и опадало шелком -
и темнота дышала
яблочной свежестью твоих уст...

Исход – это взрыв, извержение, пробивающее косную тяжесть обставшего времени, смещающее топографию равнин, и гор, и человеческого духа.

Все оживает и втягивается воронкой, энергией Исхода. Это – реальность, четко и напористо рвущаяся сквозь время, тогда как жизнь наша клочковата и алогична, как сон. Исход – это когда сорок поколений питаются крохами с Твоего стола и ствола.

Исход-это когда сместилась земная ось и сразу возникли все звезды. Исход – это наше подсознание, истинно наша страна в нас, распростершаяся на тысячелетия назад и рвущаяся в узкую горловину перехода через Тростниковое море.

Исход – бесконечная, быть может неудачная, но единственная грандиозная попытка отменить неотвратимость пространства, времени и смерти.

Исход – грандиозная коллизия, *прореха*, через которую сквозит Божественный замысел в самом его начале.

Исход – это всего сорок поколений, тени которых мерцают бледным пламенем над камнями их могил, складывающимися в лестницу к нам, и нет прошлого, и нет будущего – есть одно сопереживание в вечности с пробуждением и входом в видимую полосу жизни, освещаемую свечой Его – Торой, и не было ни раньше, ни позже, никогда такого совершенного источника света.

Вот имена... ушедшие... Но в них закрепилось отшумевшее время.

Медно-песчанен колорит Исхода.

История течет пестрым неуправляемым потоком событий, и только Исход проявляется как первородное Божественное направленное усилие. И сколько бы на него ни накладывались другие пласты и потоки истории, из-под всего, как вечный архетип, проступает Исход.

Из малого семени, первородной клейкой среды, произойдет великий народ – древо жизни, а на ветвях его – живая плоть тысячелетий.

За спиной уже складывается новая память, преследуемая и освещаемая луной, бегущей по водам вслед Исходу...

Ветер гонит из гнезд памяти новые имена, места, стоянки.

Исход, отраженный сверху вниз – в выпуклых глазах ящерицы. Понимает ли скрывающаяся в ней душа это различаемое взглядом движение массы существ, уходящих за край земли? Исчезающих в движении – и потому остающихся вечно живыми...

Они еще себя не осознали.

Только враг думает, что знает их язык.

Только ребенок, который войдет в землю обетованную, знает, что говорят их пророки...

Время по сей день гонится за Исходом, не в силах его поглотить...

Кочевье – форма существования с минимумом уюта и обжитости, малого домашнего круга, и потому почти настезь открыто космическим пространству и времени.

Луна – идол безумцев и лунатиков – входила в каждодневье как инструмент времени – иначе как начать отсчет сорока лет пустыни? Ведь Его не обманешь, как это делает ребенок, перескакивая числа, чтобы ускорить бег времени.

Очевидцы Исхода.

Сизый ворон из Африки, косящий глазом...

Сверчок, чей первобытный напев измеряет тысячелетия...

Одинокая птица, чей короткий печальный крик – мгновенный мостик через вечность...

Короткий дар ночных раздумий – предутренние звезды...

Тишина очищения.

Казалось, каждую ночь возникали новые созвездия или давно забытые старые.

И сердце сжимал испуг: заблудились?

Направления менялись.

А потом звезды уже стали неотъемлемой частью нашего существования...

Мы шли по пустыне, души истончались страхом – он обжигал бичом лбы одержимых похлеще египетского надсмотрщика.

А где-то, в небытии, севернее, на блудных крышах Сидона потаскуха родила мертвого ребенка, чьей ручкой поводили перед глазами слепцов в надежде, что они прозреют.

Скалы – как вставшая дыбом железная Книга...

Зеркала лун в железняке.

Небесная Медведица сквозь черноту ночи, посверкивая звездами, вгрызается нам в душу, преследуя нас в снах и кошмарах...

Синай. Зеленые мухи на охряно-зеленых расплывах меди.

Время пробует на зуб серебро и золото Исхода и ломает челюсть.

А хрупкое исчисление лун переживет тысячелетия.

5. Синай – Эверест времен

Исход – не просто переход.

Это – жизнь-странствие, кочевье души иудейской.

Жизнь по времени – солнечному, водяному, песочному.

Огромные песочные часы: *пустыня.*

Над временем Исхода работали часовщики Вечности.

Каменные часы пустыни.

Пространство Исхода как творения – круг гончара: огромные ладони пустыни.

Слуховой настрой Исхода: *пустыня внемлет Богу*.

Топография: истинный исход всегда меридионален.

Быстрая смена земель, впадин и гор, климатов, настроений...

Свидетель Исхода – Вечный жид.

Часть первая Лавка древности

Всех человекoв дело на тончайшей подвешено нити...
Овидий

6. Дыхание и запись

В этом потерянном поколении как в зародыше таились гены всех типов сынов человеческих, затем действовавших в истории.

Они составляли как бы первый ряд, неповторимый в своем роде, ибо не просто изучали дымящееся от внутреннего горения, складывающееся на глазах Пятикнижие Моисея.

Это было первое и последнее поколение, которое жило в собственной истории.

Не было *дистанции*, делающей историю Историей – явление само по себе невероятное, даже страшное: *некое проживание в мире без тени* – История еще не успела отбросить тень от их жизни, и это означало – жить на ослепительно раскаленном кратере извергающегося вулкана.

Не текст, а – огненный поток, существование внутри которого было и дыханием, и записью одновременно.

7. Присутствие неопровержимой реальности жизни

Разве Эйнштейн навязал миру свою теорию?

Самая великая и самая парадоксальная для человеческого сознания, эта теория наиболее близка к мысли о Боге.

Так и явление Бога на Синае не навязано миру, а есть его, мира, внутренняя сущность.

Но, боясь открывшейся бездны, человек пригибается и готов все время сидеть на корточках.

Моисей сумел в отличие от многих других, канувших в забвение, создать из самостоятельного визионерского опыта *альтернативную реальность*, которая уже потому от Бога, что стала по сей день неотменимой основой духовного мироздания человечества.

Жажда раскаяния, жажда обнаружить корни своих прегрешений тянет к героям типа Моисея, которых в поколении моем не было. Именно сила этой жажды и рождает его образ и понимание мною собственного поколения.

Он писал дневник великих событий «лицом к Лицу». Но из всей *совокупности* фрагментов, сочетаний, импровизаций и постулатов следует такое единство мыслей и действия, возникает личность, столь могучая и неповторимая, что *мы невольно чувствуем себя в присутствии неопровержимой реальности жизни*.

На горе Нево

1

Он поднимался на гору Нево один.

Он видел себя со стороны.

Всегда – *со стороны*: признак ненавязчивого, но неотступного через всю жизнь одиночества.

В слуховых извилинах бьющейся в силках птиц все еще метался собственный его голос поверх тысяч и тысяч голов в сумеречной долине, ушедшей вниз, как уходит из-под ног твердь, когда течение вод опрокидывает и заливает с головой, – слова гнева и назидания, за которыми гнезился остекленевший ужас понимания, что это последние озвучиваемые его горлом слова. Так повелел Он:

«Взойди на эту гору перевалов, гору Нево, которая в земле Моава, на пороге Иерихона, окинь взглядом страну Ханаан, которую Я даю сынам Израиля во владение; и умри...»

Острейшее ощущение ужаса, которое – теперь он был в этом уверен – еще до рождения передано ему в чреве матери, дрожащей от праха перед повелением фараона бросать еврейских младенцев в Иор¹, а после рождения колыхало смертельной сладостью на водах в легкой, как гибель, корзинке из тростника, – знакомой тошнотой ударило под сердце.

О, как он это чувствовал: он родился под звездой *насильственной смерти*.

Существование его всегда шло впритирку с несуществованием: есть ли что-либо мерзостнее убийства беспомощного младенца, страхи, который испытывает беременная мать, передавая его существу в чреве ее? Итро открыл ему, насколько он подвергался опасности до рождения да и после, при дворе фараона. Затем – убийство египтянина, бегство в пустыню, исход.

И только в эти мгновения, на Нево, не существовало никакой насильственной угрозы. Но Ангел ждал его. И в этом был весь ужас оставленности.

Давно, в годы пустыни, в редкие, глубинные мгновения жизни, он скорее почувствовал, чем понял: ужас этот не от беспомощности.

Суть его – в безопорности.

В абсолютной, необратимой оставленности.

Затем пришла опора. В Нём.

Но воды многие, несущие через жизнь, иссякли – Он повелел: «умри...»

Наученный жить с этим ужасом, он нашел в себе силы записать в Книге именно так, ибо начертанное с Его повеления становилось законом.

Каково ему было писать о себе как о постороннем не в первый, но в последний раз:

«Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась».

Но только он, Моисей, слышал то личное, ближе ему собственной сонной жилы:

«Я избрал тебя, Моисей, потому что в тебе впервые после сотворения человека уловил вне Меня с ясностью, могущей потрясти столпы мира, истинное понимание того, что за тебя приняли решение – привести тебя в жизнь и увести из нее.

Это понимание – чистейшее в редкие мгновения жизни звучание Абсолюта.

Голос тонкого безмолвия.

Это понимание – на миг размыкание удушливого кокона земной телесной жизни...»

¹ Нил (тр.).

И это был самый корень ужаса, мучивший его долгие годы: никто не спрашивал у него права привести его в эту жизнь. Ужиться с этим можно было единственным образом – принимая эту жизнь в дар, а не как насилие над ним или предназначенность неким ему непонятым и потому, быть может, страшным целям.

В какие-то мгновения, когда в нем все восставало против этого насильственно навязанного дара, он ощущал ужас надвигающегося безумия.

Оказывается, самое тяжкое в этом мире – выдержать дар навязанной тебе жизни.

2

Он поднимался на гору Нево один.

Он знал: они где-то притаились там, пониже. Они объясняли это себе чувством долга: мол, им следует охранять его.

Он знал, Иешуа готов жизнь отдать за него, но и в нем любопытство смертного, хоть одним глазком приглядывать – как же это, великий вождь, который с Ним был лицом к Лицу, сидит один, беспомощный, в ожидании смерти, заброшенный, как вот приبلудный пес, который неизвестно как очутился на этих высотах и бежит от него, Моисея, поджав хвост, чуя запах приближающейся смерти.

Смертное любопытство, кажется, растворено в самой атмосфере этих мгновений.

А может, все это лишь его домыслы и окружающие даже обрадовались приказанию оставить его в одиночестве.

И теперь он подобен покойнику после погребения. Каждый исполнил свой долг: кинул в него комом земли. По словам брата Аарона, в присутствии которого Моисей острее всего ощущал одиночество и которого так сейчас не хватало, покойник особенно тяжело переживает первые минуты после погребения: еще миг назад он слышал над собой, где-то в небе, плач, причитания, говор, стук – и все это относилось только к нему одному. Но вот все ушли, и его охватывает абсолютное отчаяние, воистину смертельное одиночество. Не крикнуть от ужаса, не пошевелиться, не вздохнуть. И уже ощущается начало растворения во времени, в сознании знавших его.

Все это обозначилось настолько остро, что показалось – Аарон окликнул его.

Невольно оглянулся. Но вокруг была голая каменистая пустошь, ощутимо втягивающая, как в воронку, в дремотное состояние.

Может, он уже и вправду покойник? Моисей ощупал себя. Сердце билось спокойно. При каждом вдохе свежесть горного воздуха растекалась по всему телу. Почему бы просто не встать и не вернуться ВНИЗ, К ЛЮДЯМ?

Но знал, что не сделает этого. Знал по опыту всей своей жизни – Гот слов на ветер не бросает:

«...Окинь взглядом страну Ханаан... Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь...»

Именно потому с таким напряжением вглядывается он в округлые, как овечьи спины, холмы за Мертвым морем, в горстку скудных домиков Иерихона – «городка запахов» всех семи смертных грехов, обнесенного столь же скудной с этих высот стеной, которую Иешуа предстоит разрушить. Грешен этот город. Участь его предрешена. Но чем она хуже участи его, Моисея, в эти последние часы его жизни?

На уровне глаз его – солнце, повисшее в мареве месяца Адар. Оно кажется недвижимым, замершим, хотя совсем скоро исчезнет там, на западе, в Великом море.

Кажется, до смерти еще – вечность.

Восход солнца застает человека сразу и врасплох, ослепительно и широко. И только в последние мгновения заката видишь, как быстро оно заходит за горизонт.

В долине уже темно, множество огней. Доносит ли ветер из низин плач но нему или сам стонет в расщелинах скал?

Здесь, на горе, еще пепельно-отрешенный свет закатившегося солнца. Время, когда для людей – поздно, а для Него – рано. В этом как бы ничейном времени Моисей оставался с самим собой, и в нем начинало пробуждаться чувство раскаяния, но являлся Он – внезапно, как перебой сердца, и прерывал это чувство.

Теперь Он уже не явится – пришло время идти до конца, предъявлять окончательный счет своей душе.

Оставленный людьми и Им, Моисей в безжалостном свете, впервые, видел жесткость своих поучений, от которых сам страдал. В эти мгновения он не способен был понять, где брал силы – за пределом возможного – решать судьбы целого народа. За этим мог стоять только Он.

3

Беспамятство и есть смерть.

Не потому ли как знак ее приближения – неистовое желание – жажда – припомнить всю свою жизнь, словно в этом – надежда на преодоление смерти.

В эти последние часы, оставшись наедине с собой, твердо зная, что в Землю обетованную ему не войти, он чувствовал, как его накрывает горячая волна сомнений, колебаний, всю жизнь скрывааемых от самого себя, волна всепоглощающего чувства раскаяния.

В эти последние часы внезапно приблизились к нему гигантские пирамиды Мемфиса, тогда недоступные, сверхчеловеческие, а теперь дающие странную надежду и слабое утешение, что не все брэнно в этом мире, что они все же некие ступени – пусть по лестнице заблуждений, ведущей в мир мертвых, в тупик, но все же – к Нему, как еще один подступ – надежда на смягчение Его сурового и неотменимого приговора.

А еще, поверх всего, в эти мгновения самым прекрасным высвечивалась не встреча «лицом к Лицу», не все невероятные события его жизни, о которых он писал в Книге, а внезапно пришедшее из подсознания, вернее из досознания, ощущение колыхания в корзинке на водах Нора, сладостный покой в материнских водах, на волоске от гибели.

Слишком много он прожил в мужском обществе, считая женщин существами второстепенными, но иногда вскакивал со сна, ощущая порыв, дуновение непонятого счастья – ему мерещилось какое-то случайное место в пустыне, болтовня, бездумность, нежность, как озерцо воды, светящееся лицом женщины, сладость бродяжничества и безответственности.

И вскакивал он не со сна, а как бы тянулся всем существом за ускользящим ощущением счастья, как стараются поймать бесстрашно приближающуюся к тебе птицу, которая в миг прикосновения улетает, тает облаткой, облаком, веянием.

Чувство обморочного колыхания перед исчезновением в вечности гнило подобно пульсации клейкой капельки жизни, из которой рождаются племена и народы.

Странен мгновенный высверк из допамяти, из дороговых глубин, яркий, горький выброс из досознания в миг замыкания круга жизни, абсолютного возврата к Нему – мгновение, равно отстоящее от зарождения и умирания. Некое несуществование на грани исчезновения и все же присутствия. Пожизненное странствие, внезапно в первый и последний раз (ибо истекло время раскрыть кому-либо живому эту тайну) столь отчетливо вспыхнувшее в сознании, истончающимся к исходу жизни.

Первый инстинкт, проклюнувшийся еще до возникновения, – окружающая бездна, покачивающая тебя как бы на обломке скорлупы, не грозит гибелью, ибо легкость твоя равна легкости пространства и времени.

Но они-то и не касаются тебя, *ибо для них тебя еще нет, тебя для себя еще нет – только для Него.*

Страшиться надо было не бездны, каплей которой ты был. Страшиться надо было того, что так и останешься этой каплей и не коснется Он тебя лучом своим – выпадешь за ненадобностью в осадок, в небытие, *не состоишься*.

И – как вспышка – радость *возникновения* от боли, нанесенной ударом клюва, как однажды в пустыне буря гнала птицу, она ударилась о грудь Моисея, от испуга клюнула, и понесло ее дальше – в пространство и тьму.

Ощущение изначально абсолютно лишено было образа и выражения, ибо подразумевалось до формы, до жизни – но это *было*.

В эти мгновения невероятие открывшегося проклюнулось и в языке Его, которым писалась Книга, в гнезде слов: *рэхэм* – чрево, *рахум* – милосердный, *рахмана* – Он да будет блажен, *рахам* – остроклювый хищник.

Собственное отсутствие восходило вечностью.

Собственное отсутствие не боялось воды, ибо вода была его стихией, но оно уже искало посредников между своим *ничто* и колыханием мировых вод.

Страх и безмятежность были колыбелью этого отсутствия, уверенность которого в будущей своей безопасности охранял пульс матери, гуляющей вдоль великих вод и ощущающей их тягу в себе.

Воды были сверху и снизу, небом и землей, да и само отсутствие было водой, пусть чуточку более клейкой.

И сейчас это обнадеживающее отсутствие, напрочь забытое в суете жизни, пришло внезапно, отчетливо, успокаивающе знакомо – через всю жизнь – из досознания, – залило с головой, и он закрыл глаза.

Тьма за веками была такой бархатно-желанной, очищенной, манила, но не давила, а почтительно замерла в ожидании, полная одновременно горячо сжимающей и освежающей тяги – как течение реки, которое подобно чреву матери обволакивает тебя, может спасти или утопить.

Тьма внешняя была какой-то белесо выхолощенной, клочковатой, угнетала отсутствием цельности, вызывала страх своей стискивающей горло скудостью.

Сколько раз в течение жизни он задыхался во сне, в глубину которого его проталкивала какая-то невидимая, но убийственная сила, проталкивала из тьмы и бездыханности в свет и удушье.

Это могло казаться воспоминанием, если бы не грозило столь ощутимой гибелью.

Древний безначальный ужас заполнял его только сделавшее первый вздох тельце в тот миг, когда внезапно из тесно облекавшей его полости он был выброшен в несоизмеримую, огромную, проваливающуюся куда-то по обе его стороны пустоту.

В какие бездны сознания его ни втягивало время, на какие края небесного круга он ни возносился, наклоняясь над миром, одна истина стерегла его тенью: жизнь подобна мгновению, сколько бы ты ни жил, у смерти же в запасе вечность.

Врата, колодцы, бездны смерти всегда рядом и всегда распахнуты настежь.

Вход в жизнь меньше отверстия игольного ушка.

Мгновенная легкость исчезновения превышает все вместе взятые возможности вхождения в жизнь.

Но она оживает в голосах, звуках, шуме вод, и рассказы покойной сестры Мириам не только возвращают живое ее присутствие, но и присутствие всех тех, которые окружали младенца, всплескивали руками, говорили, смеялись, плакали, и это были только женщины – и женская стихия в ее слиянии с младенчеством и материнством, побеждающая все фараоновы ужасы, его указы об утоплении младенцев, – все это нахлынуло с такой силой, будто совершалось тайно, но рядом, и младенец косвенно присутствовал при этом, и теперь это вернулось

реальностью, которая таилась в подсознании всю жизнь и вдруг раскрылась, а скорее, обрушилась невыносимой тяжестью и еще одним неотвратимым знаком завтрашнего ухода.

Глава первая Воды многие

1. Непробужденность как полнота жизни

Воды были сверху и снизу, небом и землей.

Само отсутствие было водой.

В длящийся миг наличествует присутствие, но и оно размыто, текуче и безопорно.

Воды многие – со всех сторон: спасающие и грозящие удушением.

После длящейся толчками и болью тьмы – первая фиксация: настороженность и тревога в звуках, которые потом обернутся голосами женщин, мягкими, льющимися водой из ковша.

Абсолютная беспомощность – равная уверенности в такой же абсолютной безопасности.

Сладостные растворение, распластанность и покой охраняются певучим шорохом тростникового хора, младенческим постаныванием – как бы со сна – ветра, ровным запредельным напевом великих проточных вод, который может улавливать лишь неустоявшийся, настроенный на небесные эмпиреи слух младенца на пути к грубому бурелому земных звуков.

Нет верха. Нет низа.

Дезориентация как форма существования.

Непробужденность как истинная – в первый и последний раз – полнота жизни.

Непробужденность, текущая молоком и медом. Неутолимая жажда этой непробужденности и сладостной размытости.

Покачивающая легкость существования.

Прикосновение – это все, льнущее водой, воздухом, теплом и прохладой. Лишь потом обретает мягкость ладоней и губ женщин, толпящихся у входа в жизнь, вливается стружкой молока и меда, обретает упругость соска и груди, все четче определяясь покоем и умиротворением, надежностью, голубизной, тусклой, как непротертый жемчуг, и солнечным светом.

Слепящие озера женской ласковости излучают такую силу бескорыстного приятия, что оно растворяет сам женский лик – глаза, губы, очертания щек.

Певучи голоса, но различны звуки при вливании стружки молока и меда и при покачивании, погружающем в сон. Оба наречия непонятны, уловима лишь их непохожесть. (Проста разгадка этой волнующей изначально тайны бытия: укачивает мать, а кормилица – из женщин–евреек.)

Время не выделяет момента выхода из материнского лона, и в нем длится безмятежное проживание на водах или в водах чрева, продолжение плавания, как в мини-ковчеге (из корней этого знания и ощущения родится описание Ноева ковчега, ядра жизни среди всеобщей гибели, проступят намеки тайны Сотворения мира, законов перехода из одной стихии в другую, когда вода – это сгустившееся небо, а воздух – обернувшаяся паром вода).

А пока время сладостно и беспредельно, и такое чувство всепоглощающей безопасности он уже не испытает никогда за всю свою долгую жизнь.

2. Око: сладкая улыбка и угроза

Первое движение – от испуга: могу исчезнуть.

Пространство обтекает, втягивает, кружит голову, заливая первые проблески сознания. Единственное желание: зацепиться за что-либо, найти точку опоры.

Первый толчок: стоишь на качающихся ножках, испытывая страстное желание вернуться в непробужденность, отдаться сладкой стихии сна, лечь на спинку, свернуться бочком. Но кто-

то невидимый упорно ставит на ноги. Окружающий мир словно бы в знак солидарности и поддержки качается вместе с тобой, опрокидывается вместе с тобой, лицом вниз. Так – хаосом лоз, ветвей, лиц, деревьев, дворцов, опрокинутым в зеркало вод, он закладывается в предсознание.

Проснувшись, продолжаешь делать вид, что спишь. В пробуждающемся сознании первая дилемма: притворишься спящим – не получишь молока и меда; раскроешь глаза – поставят на ноги.

Сильнейшее потрясение: вместо солнечно размытого, лучащегося абсолютным бескорыстием лика впервые и резко в поле зрения вдвигается глаз. Око. Оно огромно, ибо его не с чем сравнить. Оно – в окружении дряхлых, пахнущих чем-то пугающе мертвым складок, таящих сладкую улыбку, но в ней подозрительность и угроза. Вместе с тошнотворным страхом, пришедшим откуда-то из околоплодных вод, от пуповины, соединявшей его с матерью, переливающей в него ее страх, приходит неодолимое желание – сбежать от этого, как ныне кажется, вечно следившего за тобой ока.

Но как?

Отсюда – первая мысль: вот же, у меня руки – заслониться от ока. Открыть дверь. У меня – ноги: бежать. С этих мгновений четко и прочно ощущение собственного малого тела, отделенного от распластанного, непробужденного, сладко заглатывающего пространства.

Новое чувство неудержимой жажды движения оставляет за своим пределом все окружающее в деталях пространство. Призрачны уймы людей, стоящие и движущиеся в дворцовых стенах. Никакого желания видеть, кто рядом, но всегда невидимый направляет его и в конце концов возвращает в его комнату.

Позднее он узнает, что дворцовые врачи, мучимые встревоженной матерью, ломали головы над его гипертрофированной сонливостью и расслабленностью, считая это некой формой летаргии, которая, по их просвещенному мнению, и должна была смениться гипердинамичным стремлением к бегу и бегству. Мать его не очень-то верила врачам и жрецам. Она и уговорила самого деда, наместника Амона-Ра на земле, взглянуть божественным оком своим на бледно распростертых) в долгом сне внука. Результаты сказались незамедлительно: внук встал на ножки и с тех пор проявлял чудеса изобретательности в умении бежать и прятаться.

В дворце толкалась всегда уйма народа, но он вокруг себя ощущал некую почтительную пустоту. Он чувствовал, что мать любит его больше всех. Быть может, потому что он был смысленнее всех и симпатичнее, а быть может, из жалости, ведь он страдал косноязычием, и значит, путь к высотам власти, где больше всего ценилось гладкоязычие и курение фимиама, ему был заказан.

Косноязычие связано у него с внезапным ожогом, болью, чернотой в глазах и сверкнувшим в этой черноте огненным ликом, вознесшимся вихрем из медово-молочной размытости, с тех пор и на всю жизнь почтительно дремлющей поодаль и охраняющей его живое присутствие. Вихрь толкнул его под руку, и горячая головешка обожгла ему язык.

3. Пес по твою душу: пустыня

Жрецы-лекари считали, что излечить его от всех, как они полагали, болезненных отклонений можно, заменив ему имя или сменив комнату проживания и окружающие его вещи. Мать Бития, давшая ему имя Месу (ибо извлекла его из воды), и слышать этого не хотела.

До того момента вещи в его комнате существовали как бы вне самих себя. Он спал на кровати, не замечая четырех ее ножек, завершающихся вырезанными из дерева львиными лапами. Он ел, не замечая инкрустированного полудрагоценными камнями по меди столика, ни тарелки из алебаstra, и пил, когда одолевала жажда, не ощущая тяжелой на вес чаши из горного хрусталя. Купание ему очень нравилось, руки невидимого существа растирали его ароматными жидкостями.

Но тут перед ним развернулся целый спектакль. Во-первых, все эти призрачные тени, скользкие, подносящие и уносящие, неожиданно ожили, и началась настоящая свара, воистину звездный час месяцами молчащих существ.

Вот они, толпятся в его комнате.

Отчаянно жестикулируют, выясняя главным образом, кто старше в подаче команд, как тащить и сдвигать, что первым делом, а что последним, кто опытнее, чей начальник влиятельней.

Ничего не понимающий ребенок с каким-то тайным живым наслаждением вслушивается в эту перебранку.

Но особенно его потрясает то, что он впервые видит уйму вещей, извлекаемых из его комнаты, отделенных друг от друга и потому выглядящих гораздо крупнее. Непонятно, как они так незаметно уживались в комнате, которая ему казалась почти пустой. Привычное кресло со спинкой и подлокотниками, которое так удобно облекало его, внезапно выныривает, блестя чеканкой по золоту и тисненой кожей, пугая головами соколов, завершающими подлокотники. Из-под кровати вынырнули скамеечки. Выносят шкафы, также инкрустированные снизу доверху. Одежды немного. Ведь малыши ходят почти нагишом. Ожерелье и набедренная повязка ощущаются частью тела.

Он помнит, как в новом месте его мучит стеснение, сжатие – стенами, замкнутым пространством темных комнат, коридоров с небольшими окошками ближе к потолку – из-за постоянной жары. И он рвется через анфилады комнат, бежит, в надежде дойти до конца этих стен и колонн, вырваться за их пределы, пытается в разных местах выглядывать в окна – дворцы идут беспрерывно, бесконечной чередой. Но стоит им оборваться, как они мгновенно сворачиваются в раковину отлетающего шагами пространства, куда ему запрещено ступить.

Дворцы в Верхнем Египте бесконечны, как мир, – залы, проходы, переходы, аркады, комнаты, но в любой точке, стоит выглянуть в окно – и мгновенно тут как тут, вдалеке, как пес по твою душу, лежащий плашмя на собственных лапах и бдительно следящий за тобой, – пустыня цвета нильской воды.

Мгновенный переход городского организма с фонтанами, журчащими каскадами, дворцами, массой гуляющей в ночи после жаркого дня публики, к нагой пустыне, так странно светящейся тусклой латунью под луной, ударяет в душу внезапным страхом, но и невероятной по мощи энергией жизни.

И все же время как бы стоит на месте. Это ощущение особенно поддерживают фрески и росписи на стенах дворца, однообразно повторяющие великие подвиги деда, наместника Амона-Ра на земле.

Как ни странно, но скука, порождаемая этим однообразием, внушает внуку чувство безопасности, растущей любви к деду, которую более старшие внуки выражают вслух с пузырящимся слюной умилением.

И вправду, каким несмышленьшим был он в младенчестве, непышная ужас при виде дедова ока! Но скука вершит свое дело, и появление на росписях каких-то незнакомых лиц вызывает радостное любопытство: поднадоевшие в своей правильности чисто выбритые лица соотечественников с накладными бородами, париками – знаками цивилизации – вытесняются тучными, волосатыми, бородатыми, но живыми незнакомыми существами, правда с великой скорбью на лицах. Оказывается, радоваться-то нельзя, как объясняет дядька-воспитатель по имени Уна, один из почтеннейших слуг деда, сопровождавших его во всех войнах. Это ведь пленные, рабы. Вот этот, с короткой челкой, костлявый, с пером на голове, – ливиец, а этот, стриженный под горшок, с плоским лицом и большой серьгой в ухе, – негр, а эти... о-о-о... порождения мерзости и тьмы, горбоносые и бородатые, азиаты, семиты, худшие из них ну просто нечисть, эти вот, видите, Ваша светлость, да будет в душе Вашей милость Амона... хабиру... Даже в слуги их не берут. Не радоваться им, а проклинать их надо.

Нот оно как, выходит, все эти слуги, а подчас и охранники, скользящие бледными тенями вокруг, раньше были такими полными жизни, какими изображены на стенах. Как же должны выглядеть эти исчадия зла... хабиру?

4. Яйцеголовая змея Гайя

У внука наместника бога Амона-Ра на земле и нюх и слух подходящие. Ноздри его за множеством каменных стен различают избыточную свежесть, запах сырости, гниения лоз, цветения мха, шорох вод в плавнях Нила и не менее избыточную сухость и зной, идущие из пустыни. Ухо его улавливает шевеление рыбы в далеких водах, движение мыши под полом, слабый скрип древоточца. Как же ему не слышать приглушенный стенами голос Уна, который уже не в первый раз, уложив спать внука бога, рассказывает умирающей от любопытства и страха челяди о своих подвигах, походах и сражениях с ужасными врагами великой страны Амона-Ра, вечно залитой солнцем. И обрывочно роняемые слова Уна о врагах, которые всегда угрожают с севера, где высоты, дожди, туманы, чудятся мифом, пугают и притягивают. Об азиатах Уна умалчивает, ведь многие из челяди откуда: служат в кладовой, на кухне, в ткацких комнатах.

Но вот хабиру, апиру, ибрим – тут Уна дает волю языку: они же там разбойники на больших и малых дорогах, грабители; у нас-то они ироде бы в плену, а размножаются, как саранча, хотя ведь на самых тяжких работах, в каменоломнях, шахтах, на строительстве. Слышали, что говорит повелитель наш, наместник Амона-Ра на земле: надо прекратить их размножение, ведь в случае войны они соединятся с врагами против нас, как это было в давние времена, когда гиксосы пастухи-разбойники, возомнив себя царями, превратили на: страну в развалины, в которых лишь плакал ветер, выли шакалы шипели змеи. Так вот, повелитель наш, сам бог и наместник Амора Ра на земле, не в силах их одолеть, обратился ко всему народу с призывом помочь ему, повелителю, удушить это семя: как только родится у них мальчик, топить гаденыша. Но вот же, месяц июнь в разгаре, а Нил совсем обмелел; это они наколдовали засуху, так что и топить гаденышей нельзя...

За окнами дышит жаром июньская ночь, время от времени разрываемая дикими воплями животных из дедова зоопарка, расположенного в зарослях у самой нильской воды. Слова Уна о воющих шакалах, шипящих змеях и... гаденышах рода человеческого совсем лишили сна внука бога: перед его расширенным от страха взглядом слов бы возникают из глубины зеркала, мерцающего полированным серебром в углу комнаты, увиденные им при посещении зоопарка странно протягивающие своей мерзостью и силой свиноголазые крокодилы и всякие ползучие гады с немыслимыми рисунками на слизисто-гладких извивах тел, с тонко вибрирующими жалами и раздувающимися пузырями яда... и эти крикливые попугаи, красно-желто-зеленые, к будто родившиеся на самой грани перехода от животных криков к человеческой речи, но в отличие от человека не могущие прорвать эту преграду.

Оцепенелым оком уставилась в него круглоглазая яйцеголовая змея Гайя, словно бы сошедшая с дедовой митры, обвивающая эмблему Гора, бога силы и власти. И эти гаденыши-детеныши хабиру видятся ему такими же ползучими, с вибрирующими жалами, если же всемогущий дед не в силах с ними справиться.

Правда, некоторое сомнение вызывает ответ Уна на вопрос одно из слуг: как же обнаруживают такого гаденыша, ведь отец и мать, верно, прячут его. Нам, слугам, это вообще запрещено, отвечает Уна, господа наши, египтяне, идут в халупы хабиру со своими младенцами ми, щиплют их, те плачут; тогда и гаденыши плакать начинают.

Выходит, и они – маленькие человечки, а это в корне меняет дело. Но ведь во время войны убивают же себе подобных: жалость в таком случае равнозначна собственной гибели.

И успокоенный этой мыслью, внук бога засыпает.

5. Впервые: радость распаханного пространства

Колдовство хабиру, этих исчадий ада, явно не удалось. Под покровительством богов и их наместника на земле воды Нила начин ют подниматься. Стена вод оливково-бурого цвета прибывает и прибывает, заливая не охватываемые взглядом пространства. Сплошное высокое половодье весело переливается солнечным светом, как-то оттеснив совсем в сторону мысль о том, что это, вероятно, и очень удобное время топить младенцев хабиру.

Города и деревни возвышаются островами и островками посреди сплошных вод. Дамбы, по которым пролегали дороги, размываются ни глазам, по ним просто опасно передвигаться. Общий подъем духа в связи с будущим изобильным урожаем и настоящим праздным ожиданием спада вод выгоняет из всех углов и нор ладьи, лодки, плоты, суда, и целые плавучие флотилии бороздят не только Нил и каналы, но и широкие водные пространства залитых полей.

Беспечность, безделье, праздность и праздничность царят над страной Хапи, бога вод великих и многих, чьи подобию, маленькие фигурки тучного мужчины с отвислым жирным животом и грудью, с цепком водяных растений на голове и с подносом, заваленным рыбой, цветами, снопами пшеницы, изготовленные из бирюзы, серебра, лазурита, меди и золота, щедро бросают в высокие воды.

Вся страна сорвалась с мест, снялась с якорей, потеряла в беспечной радости раскрепощения всяческие опоры, как теряют голову во хмелю. Мелкие суда, лодки, плоты кружатся на водах вплотную друг к другу, образуя некое новое временное плавучее пространство проживания: на них день и ночь пируют, пляшут. Женщины потрясают трещотками, мужчины играют на флейтах и поют бесконечные хвалебные песнопения наместнику Амона-Ра в ожидании его выхода из дворца и отплытия его божественной свиты кораблей к святилищу Амона в Ипет-су.

Внука бога впервые после привычной стесненности стенами переполняет радость распаханного напрочь пространства, полного солнца, цветистости флагов, вымпелов, венков, вод многих, внутренней мощью словно бы выгибающихся дугой между отдаляющимися на глазах друг от друга берегами.

Внука бога вовсе не занимает вызывающий сплошную истерику на кораблях, лодках и плотах вынос деда на ослепляющих отделкой парадных носилках его старшими сыновьями и приближенными, несущими над дедом зонты из страусовых перьев и орудующими опахалами.

Внук бога вместе с другими такими же, в окружении фавориток и прислужниц, на вызывающем восхищение своим изяществом корабле, ухитряется, не отпуская руку матери, приклониться к борту так, что рябящие бегом высокие воды опрокидываются небом, которое в свою очередь тускло-солнечным водопадом отвесно и беззвучно рушится с высот.

Новым радостным от узнавания витком из досознания в длящийся на ощупь, на свет, на вздох миг приходят колышущаяся легкость и дезориентация – как формы существования. И только тонкие, почти расплывающиеся в солнечном мареве нити дамб, верхи дальних пирамид и обелисков досадными соринками скапливаются в уголка глаз.

Уже в ранний час, перед восходом солнца, на миг на востоке сверкнула звезда Сопдет²: значит, Новый год вступил в свои права. И он то же, затаив дыхание, ожидал этого взблеска, который еще и сейчас как бы замер в заглазном пространстве.

Взрыв ликования и визга вырывает его из блаженного состояния массы мужчин и женщин, рискуя опрокинуть кораблики и лодки, тянут к ним руки, хлопают в ладоши, почти кликушествуют, выражают восторг и любовь, вероятно, к его матери, дочери наместника Амона Ра, любимой народом.

² Сопдет (*egunet.*) – Сириус.

Внезапно он слышит: они выкрикивают его имя. Ком подступает к горлу, слезы брызнули из глаз – впервые тело его сотрясает обессиливающее чувство благодарности, гордости и страха, и он машет га в ответ, испытывая дрожь от силы, идущей от этих множеств людей плывущих, стоящих на берегу и на кровлях, пьющих пиво, опустошающих лотки торговцев от жареной дичи, арбузов, смоквы, винограда. Воины с пучками перьев в волосах бьют, не уставая, в тамбурины, пляшут обнаженные до пояса танцовщицы, негры трясутся в танце. Тут же рядом забивают живого быка, и внука бога всего передергивает.

Голова его идет кругом от непрерывного потока впечатлений, празднество подхватывает, втягивает в нечто неохватное, шумное, не расчлененное, в котором города словно бы тронулись и поплыли кораблями, испытывая соблазнительную тягу вдаль и ввысь всеми своими строениями, башнями, мачтами, а тут еще надвигаются колос сальные пилоны храма Амона, поддерживающие само небо, аллея сфинксов, кажущаяся бесконечно уходящей к воротам здания храма охватывающего все видимое пространство.

Ползет корабль-храм – гора золота, серебра, меди и бирюзы, вся в рельефах, изображающих деда, поклоняющегося Амону. Корабль канатами волокут на большую воду падающие от напряжения и усталости люди в шумном окружении эскорта знаменосцев, копьеносцев музыкантов.

Обморочная мощь этого столь долго длящегося массового зрелища, сладковато-удушающий запах воскурений, совершаемых жреца ми, снова подкатывают комом к горлу и слезами на глаза.

6. Впервые: омут удушья

Приближается ночь высоких вод. Рев празднества, непрерывно давящий на перепонки, ослабевает. По-прежнему не отпуская **руку** матери, внук бога засыпает в приготовленной ему постели, слышен лишь шорох вод да почти птичье щебетанье фавориток за стеной о цирюльниках, прическах, гребнях, платьях и сандалиях...

Проснулся как от толчка. **Один.**

Вероятно, спал совсем недолго.

Шепот женщин за стеной как никогда остро воспринимается слухом. Явственно шевелит губами фаворитка, приставленная к нему, по **имени** Реджедет: младенца нашли в сплетенной из тростника корзине, осмоленной снаружи и изнутри; именно она, Реджедет, первая увидела корзину среди высоких зарослей камыша, у самой кромки вод, и она, тогда еще рабыня, сразу удостоилась внимания дочери бога и, принеся корзину, из которой доносился плач младенца, и госпожа сама открыла, и все увидели голое дитя, но словно бы погруженное в световую ткань, такое бывает, говорят же – счастливцев, родился в рубашке или с золотой ложечкой во рту, одним словом, вы же знаете... тут Реджедет настолько ослабила шепот, что даже пылающие от невыносимо острого любопытства уши внука бога бессильны что-то услышать, лишь одно слово на мгновение вынырнуло из длящегося безмолвия, и то потому лишь, что было незнакомо: «проказа»...

«Это из детей хабиру, ибрим, сказала дочь бога», – так же внезапно, как и пропал, возник снова явственный шепот Реджедет, но тут порывом ночного ветра нанесло шум, пение, крики, удары тамбурина с длящегося где-то неподалеку праздника, и эти несколько мгновений показали внуку бога вечностью.

«... Не хотел брать грудь египтянки, а как привели кормилицу из еврейнок, сама я своими глазами видела, и та начала ему что-то шептать на их наречии, так он прямо присосался к ее груди... А дочь бога лишь прикоснулась к нему, и все как рукой сняло, упаси нас Амон-Ра, все мы знаем это, все причастны, у всех замкнуты уста...» – теперь шепот Реджедет шел с напором, без пауз, переходя в голос...

И в этот миг он понял: *речь о нем!*

С невероятной доселе силой ком подкатил к горлу, шепот смыло. Шум вод, давних, дальних, небесных, околоплодных, смешанный с забытым, как легкое дыхание над кормящей грудью, наречием, нарастая и усиливаясь, нахлынул сухим жаром, бешеными ударами сердца, и внезапно взорвался криками женщин, визгом фурий, в глазах пало черно, и в черноте этой сверкнуло знакомое огненно-ангельское, вознесшееся вихрем, ударило и обожгло язык пылающей головешкой.

На миг, вероятно, потерял сознание...

Очнулся от удушья: ни выдохнуть, ни вдохнуть. Еще миг, и он перестанет существовать.

Собрав последние силы, сполз с постели, цепляясь за стены, выбрался в коридор, пытался выкрикнуть имя матери, в ужасе не мог его вспомнить, какие-то звуки все же вырвались из горла, и он рухнул на пол.

Вынырнул из багрово-черной, сладостно объемлющей бездны раскрыл глаза в комнате матери: вокруг хлопотали врачи, жрецы, лили на него воду, били по щекам. Совсем рядом увидел глаза матери неожиданно для самого себя прошептал: «Что это такое... проказа?.. Зрачки матери расширились испугом и болью.

Реджедет, бледная от страха, пыталась к нему прорваться. При виде ее у него начались спазмы и рвота. Стражники силой выволокли ее из комнаты, порвав на ней платье и чуть ли не вырывая волосы. Говорили об отравлении, но врачи этого не подтвердили. Вся прислуга была новой, сплошь незнакомые лица. Совсем обессилев после рвоты, в полузабытьи лежал он в постели матери, не отпуская ее руки. За стенами бушевали, накатывая и ослабевая, волны праздника – пьяный рев, пение, гудели тамбурины, бубны, ревели трубы, сверлили слух флейты. Спешно готовили корабль к отплытию домой, во дворец матери.

Каждый раз, когда возникал отзвучавший шепот Реджедет, он закрывал глаза, в страхе проклиная самого себя за это лишнее всяких сдерживающих преград, просто опасное для жизни болезненное любопытство, но мать тербила его, требуя не закрывать глаз, не спать, ибо так ей советовали врачи.

7. Впервые: очарованность одиночеством

Корабль из свиты наместника Амона-Ра на земле, возвращающийся с празднеств не ко времени, озадачивает весь этот непросыхающий от пьянок и гулянок люд на лодках, судах, плотках, на берегу. Но тут же придя в себя и приняв это за нечто новое в традиционном празднестве, они еще более рьяно кружатся вокруг корабля, ревут и пляшут, требуя, чтобы на палубу вышли внук и дочь бога, однако лишь немая стража с довольно свирепым выражением лиц стоит вдоль бортов и даже отталкивает шестами слишком близко подходящие к борту суда и лодки.

В почти пустынном дворце встречает их Уна, но, увидев его, внук бога тотчас же вспомнил его ночной рассказ о гаденышах-хабиру и вновь почувствовал удушье. Опять началась рвота. Униженного и уничтоженного дядьку по имени Уна стражники выталкивают в шею, заломив ему руки за спину.

Пустынный дворец, в котором лишь неслышно снует прислуга, стараясь вообще ступать, да слышится хохот, вой, шипение и крики животных в вольерах, как ни странно, успокаивает внука бога, тем более что впервые он все время с матерью.

Ест, пьет и подолгу просиживает с нею у вод Нила, слушая негромкое пение, а иногда постанывание ветра в высоких камышах. Шорох вод слышится ему то вкрадчиво-гибельным, то откровенно спасительным, а когда ветер замирает и, свернувшись клубком, как зверь в вольере, засыпает, беззвучные камыши, подобно арфам, замершим после концерта, но всегда присутствующим накопившейся в них и жаждущей прорваться музыкой, несут скрытую, но

столь ощутимую отзывчивость на каждое движение его души, словно бы всегда были, есть и будут немymi и поддерживающими свидетелями его существования.

Го, что огненным лезвием рассекло внутренности его и погрузило во мрак в ту ночь, ослабевает, бледнеет, края раны срastaются. Сонм сомнений, как облако мошкары, призрачно пляшущее над ночными плавнями Нила и исчезающее с первым проблеском солнца, объемлет душу: быть может, это был всего лишь страшный сон, порожденный тем ночным рассказом Уна, и теперь ему искренне жаль и воспитателя, и Реджедет, которые из-за минутной его несдержанности поплатились своим положением, а может, и жизнью.

Смутно, по каким-то мельком замеченным признакам – порванному жесткими пальцами стражников платью Реджедет, заломленным ими же за спину рукам Уна, бессловесному страху в глазах снующей вокруг тенями челяди – он догадывается, что за всеми этими улыбками, роскошными церемониалами и праздничным кликушеством скрыта иная, жестокая и гибельная жизнь. И еще он твердо знает, что никогда не спросит обо всем этом мать, любовь которой – единственная настоящая опора его жизни.

Праздник вод, высоких и многих, Ипет-су длится месяц, и в какой-то миг кажется, что это уже навечно установившаяся форма времяпровождения, и на всю жизнь запомнятся внуку бога эти редкие по глубине и наполненности дни в пустынном дворце, навсегда научившие его быть очарованно верным одиночеству в лоне вод многих, земель бескрайних, небес бесконечных посреди отголосков дальнего, длящегося беспмятного праздника.

Время, кажется, замерло. Солнечный день нескончаем. И все же незаметно что-то меняется: в какой-то миг обнаруживаешь, что воды явно понизились, плечи земли, влажной и неотвердевшей, осторожно, но прочно показываются из-под воды неким миром, забытым в пьяном беспмятстве сорвавшегося со всех цепей люда, но всегда надежно существовавшим под стихией текучих пространств. Протрезвевшие от вернувшегося чувства земного притяжения, земледельцы начинают взрывать еще не просохшие поля, забрасывать в борозды зерна, спелая пора готовится в школу, что впервые предстоит внуку бога.

Жизнь во дворце вошла в обычную колею с церемониями утреннего вставания деда, его омовением, умощением его божественной головы благовонными маслами, одеванием, снующими по всем направлениям, вместе с прислугой, важными, судя по облачению и массе навешанных драгоценностей, лицами, чья суета особенно подчеркивается замершими по всем углам стражниками и какими-то явно незапоминающимися, подобно привидениям, фигурами, периодически возникающими из-за каждой колонны, из любой щели и прислушивающимися к малейшему подозрительному шороху и звуку.

И вновь однажды ночью внезапно проснется внук бога, но не вскочит в испуге и страхе, а будет лежать с замиранием сердца в своей постели, среди знакомо и прочно окружающих его вещей, но какой-то постанывающий низовой ветер, никогда ранее им не слышанный, таившийся в его слуховой памяти, ударит ему в лицо вместе с лучами света, размытыми этим светом ликами женщин, полными испуга, страха и участия. Голоса их, стон ветра, шелест камышей, шорох вод неотменимо застолбили первый проблеск его сознания.

И возникают другие места, непривычно низкие потолки, комнатка, рядом с которой может показаться роскошной каморка самого презренного слуги во дворце. Вокруг незнакомые, но и не пугающие то ли люди, то ли тени. И ощутимо вливается жизнью небесная сладость молока, и вожделен запах груди кормилицы, подобный мелодичному пению, веющему поверх груди на незнакомом, но и так без слов понятном наречии любви и приязни вместе с легким дыханием поющей.

Все это пришло из глубин сознания впервые, неотменимо воспринимаясь как сокровенное, первичное, лишь до сих пор таившееся залогом истинного существования в нем, и только в нем, и в этом смутно, но ощутимо нащупывалась основа, крепкая, корневая, как те корни, из которых сплетается *корзина его жизни*.

И с этим новым знанием внук бога погружается в ласково объемлющие его высокие и многие воды сна.

Глава вторая Дельта

1. Черный ларец и черная дыра

Незабываемы дни юности. Испепеляющий жар пространств дружески льнет к легкому, молодому, почти нагому телу: ошутима лишь прохладная тяжесть нагрудного ожерелья в пять рядов бус, набедренная повязка вместо первого пояска, до которого он, совсем малыш, бегал голышом, да сандалии из кожи, закрепленные ремешками поверх пяток. Юноши царского двора, пройдя божественное посвящение, бреют головы наголо, он же скрывает свои черные, дико растущие волосы под благообразным, аккуратно подрезанным париком: посвящение ему еще предстоит. Изгладились шрамы давней ночи в Ипет-су, но ощущению абсолютной раскованности мешает небольшим горбинка носа рядом с прямыми от лба носами сыновей и внуков наместника бога Амона-Ра на земле.

Они знают его силу и ловкость, особенно в игре «кто кого перетянет»: стоит ему присоединиться к группе, и она побеждает. Редко кто одолевает его в шахматы или шашки, и всем окружающим его, старшим и сверстникам, знаком черный его ларец, с которым он выходит и предвечерье на необъятную прохладную крышу дворца, где все собираются для игр. Извлекаемые им из ларца такие же, как и у других, фигурки льва, львицы, зубчатых башен, пеших воинов, выточенные из слоновой кости, кажутся всем особенными, словно бы какая-то непобедимая сила вселилась в них. Во дворце особенно любят проводить время за этой игрой, и потому облик его как одного из сильнейших игроков окутан таинственным ореолом, хотя, выигрывая у старшего, он выглядит смущенным. Игроки знают его слабости: стоит ему услышать издали мелодичный голос матери, вышедшей на крышу, увидеть ее миндалевидные, печально улыбающиеся глаза в свете ними, в которых пылает оливковое масло, как он теряет нить игры, а иногда, не желая ее продолжать, тут же сдается, собирает фигурки в ларец, садится около матери и ее приближенных, попивающих маленькими глотками легкое пиво, сам же не пьет, лишь молчаливо всматривается в прохладную тьму ночи, вслушивается в слабо долетающий на эти высоты циклопического дворца шум бегущих в море нильских вод или, замерев, не отрывает взгляда от муравьиных фигурок отдыхающих, развлекающихся в дальнем конце этой необъятной дворцовой крыши, поддерживаемой двумя гигантскими сфинксами, чьи стилизованные тюрбаны заслоняют половину неба.

Он знает за собой еще одну мучительную слабость: иногда, внезапно среди физических игр или за доской – странный провал, черная дыра, полное забвение, когда он не может вспомнить, кто он такой, откуда, словно бы падает в пустоту, и полная дезориентация – как, в страхе вскочив со сна, не знаешь, где верх и где низ, – наваливается каменным ужасом несуществования.

Все это замечают и обсуждают между собой отпрыски наместника бога Амона-Ра. Их не перестает удивлять Мес или Месу³ (так ласково называет его мать), к примеру, тем, что с первых дней школы у него обнаружилась какая-то лихорадочная жажда знаний, как будто у этих знаний есть предел, которого надо достичь, как пловец в бурном море жаждет достичь берега, чтобы спасти свою жизнь.

После свободных дней праздника, накануне возвращения в школу, он плохо спит, встает раньше обычного, выходит на балкон из своей комнаты, опять который раз с тайным удовольствием вглядываясь в пустынные аллеи, где только вчера звучали песни и музыка и все

³ Месу (*egunet.*) – рожденный.

отпрыски бога веселились напропалую, а затем еще допоздна бегали взапуски по дворцовым коридорам и покоем; краешком глаза косит в сторону гарема, в окнах которого изредка мелькают женские фигуры.

А за гаремом рассветное, словно бы выцветшее небо окрашивается слабым алым, подобно головешке под слоем пепла, полыханием восходящего солнца.

Башни, идущая вкруговую высокая укрепленная стена уже начинают колыхаться в мареве, но домики жрецов и ремесленников с внутренней стороны стены еще пребывают в темени, и вообще нет уже никаких признаков вчерашних празднеств, еще миг, и в открывающиеся ворота пойдут мастеровые, конюшие, тяжело ступающие тупоглазые забойщики скота на бойне, наконец, вереницы рабов с тяжкими ношами на плечах, и значит, пора в школу – для этого надо лишь перейти из дворца в храм по аллее, вымощенной базальтом, по сторонам которой друг против друга – львы с человеческими лицами из черного гранита и сфинксы из розового, войти в ворота храма, охраняемые богами, к чьим огромным сидящим и стоящим статуям по двое и трое с притягивающими и одновременно отчужденными взглядами он никак не может привыкнуть, хотя уже не первый год изо дня в день проходит мимо этих львов, сфинксов и богов, образующих замкнутый и все же обширный в самом себе мир его существования вместе со всеми близкими. Перед тем как войти в храм, он любит оглянуться на оставленный им дворец, верхи которого в эти минуты уже сверкают бирюзой и золотом под лучами еще невидимого, но бьющего поверх стен солнца.

2. Нил: водовороты – водяные смерчи. Облики недопроявленных существ

Учится он легко, жадно заглатывая знания – и вправду как рыба наживку: это сравнение приходит всегда на практических занятиях по изучению природы, когда они вместе с учителем – жрецом храма, охраной, гребцами рассекают на лодках ковры водяных лилий и зелени, углубляясь в заросли тростника и папируса, стоящие вокруг так высоко и густо, что не видно солнца, и в этом прохладном сыром полумраке, словно в некоем безмолвном священнодействии, следят они за скользящими в глуби вод между стеблями тростника гибкими сомами, лобанами, нильскими шуками, набрасывающимися с какой-то слепой жадностью на наживки и заглатывающими гибельный кончик остроги. Изредка неподалеку, в болотистой пойме, взметнется туша крокодила, гиппопотам покажет свои огромные ноздри и малые глазки.

Изредка расступятся стены тростника и внезапный ослепительный, желтый и тяжкий, как цельнолитой неохватный брусок золота, зной прижмет всех к днищам лодок, но опять спасительные стены папируса сопровождают их обратно к городу, и вот уже чудесно рисуются длинноногие ибисы и цапли на фоне вечернего солнца, зеркальной моды отмелей, дальних песков, лагун и пойм, возделанных полей, изрезанных каналами, каналцами, плотинами.

К самому сердцу Месу подступает *мехет*, что означает – болото, окруженное папирусом, – Дельта великого Нила, разбивающегося на семь русел. Велика плотность проживания вдоль них, потому столь невероятна близость дворцов наместника Амона-Ра и скоплений домов простого народа, и все соединяется Нилом, некой коммунальной общностью, купальной страны, этим *пространством* воды, единственно незаставленным, и, главное, не стоячим, а текучим, уносящим, промывающим и вымывающим.

И все это западает в память, и с каждым новым поворотом русла, а с ним – всей Дельты, возникает неясно, но достаточно ощутимо некое новое сочетание *пространства* и мысли, вспыхивает и тут же исчезает внезапное озарение, безотчетное, тающее, как обруч солнца за прикрытыми веками, оставляющее знак чего-то невероятного и тайного.

Так плотность и скученность Дельты рождает ощущение, что из устья каждого из семи русел исходит многообразная и столь шумная жизнь городов и сел, великая масса суетной

оседлости, вливающаяся в Великое море и почти мгновенно исчезающая в нем – под бескрайностью вод.

На этой грани роятся корни мыслей, обещающих раскрыть *тайну мира*, но в конце концов закрепляющих лишь хвосты этой тайны, облики недопроявленных существ и существований, которые в своей недопроявленности несут угрозу, даже страх, но и ощущение неисчерпаемости жизни, набегающей волнами из будущего.

Купание царственных отпрысков в Ниле под присмотром опытных пловцов, необузданность юности с визгом, брызганьем, игрой в догонялки, очень нравится Месу, да и плавает и ныряет он получше некоторых старших.

Особенно он любит плыть против течения, борясь с напором вод. Однажды теплая струя, скрытая в общем потоке, властно скрутила его и понесла вкривь к водовороту, чей глубокий зев уже приготовился его проглотить, но спасатель на лодке был достаточно бдителен.

С тех пор Месу проявляет особый интерес к воронкам, стремнинам, водоворотам, интуитивно ощущая, что эти, по сути, водяные смерчи, как бывают песчаные, отмечают кривую скрытой, но отчаянной борьбы родившегося внутри массы вод и чуждого этой массе течения, сумевшего выделить себя в самой этой массе, более того, воспользоваться ею для собственного сотворения.

Разве водоворот, и не столько вертикальный – над ямой или камнем на дне, – сколько горизонтальный, не похож на почти крокодилию потасовку стаи с чужаком? И горе постороннему, который попадает в эту потасовку.

Все эти скорее ощущения, чем размышления, странны и удивительны.

Месу как бы даже сочувствует этому одинокому течению, как живому существу среди неохватно движущейся массы вод многих, которое, сотворив себя из этих же вод, должно не только бороться за свое существование, но и не терять равновесия внутри самого себя, не изменить себе по собственной слабости.

3. Море: пространство подобно пловцу на спине – лицом к небу

Видение Дельты, уходящей в Великое море – всей этой лавки древности, – несет в себе тягу к чему-то иному, намек на нечто, что может стать главным в его жизни.

Первый школьный выход на взморье потряс его с такой силой, что на некоторое время он теряет сон, опять вызвав тревогу придворных врачей, прописывающих ему успокоительное, но он-то знает причину потрясения.

Особый мир моря, приморья озвучивает, освещает по-новому все, доселе известное ему, очерчивает пространством неба и вод бескрайних – протяжно, и потому здесь очертания вещей – кораблей, домов, складов, навесов – иные, во всем нечто корабельное, плавучее, протягивающееся вдаль. И голоса людей иные – с прибавлением, колоколом пространства, с тягой и в то же время с ленцой.

Шум вод – как вечное веретено, и отношение к жизни, к току времени, здесь иное – лениво-протяжное. И любое живое существо, в особенности человек, ощущает, пусть неосознанно, но достаточно остро, свою земноводную сущность, свою оборванную пуповину, все же связывающую его с *этим пространством*, причастившись к которому он, Месу, считает его своей личной тайной.

Любимый их учитель и великий жрец Анен, кумир отпрысков царской да и всех аристократических семей, преподающий историю, географию и пантеон богов, рассматривает космогонию и эмбриологию как одно и то же, и Месу бросает в дрожь, когда Анен объясняет тайну рождения, описывая родовые схватки как спазмы на волосок от смерти, а выход в жизнь – как обвал света, первое же ощущение человеческим существом сторон света, верха и низа – как первые признаки разума, а долго длящуюся дезориентацию – как безумие.

Но отношения, развивающиеся между Месу и этим бескрайним пространством вод, никому не подвластны и раскрываемы лишь им двоим.

Очередной школьный выход к Великому морю. Знойный полдень замыкает каждого в свой жаркий куколь...

Море недвижно.

Пространство, подобно пловцу на спине, раскинулось на море и имеет с острой оранжевой дорожкой от солнца и замершими в дреме редкими дальними кораблями.

Все чудится отдаленным, отделенным и погруженным в себя.

Месу как никогда ясно, что *пространство* имеет свою собственную скрытую жизнь, одушевляемую на глубину его, Месу, вживания, вслушивания, всматривания, вчувствования в него.

У пространства свой язык, своя печаль, свое молчание.

На море оно может качаться на волнах лицом к небу.

В пустыне, куда их также однажды возили, оно погружено в марево, в оцепенение, но всегда и везде главное – это *вслушивание в себя*.

И уже на всю жизнь память юности будет вставать ровной выцветшей, замкнувшейся в теплыни вышиной небес и рыбе-сизым морем. Мягкое солнце, слегка припорошенное взвесью песка, плашмя лежит на суете дворцов и безмолвии дальних пирамид. Море, погруженное в себя, в нечто высокое и вечное, принимает тебя в свое безмолвие и настраивает, как всеобъемлющее сознание, на ту же вечность.

Так и закрепятся эти годы – четкой, острой линией горизонта – краем сознания. И по этому краю перепончатыми крыльями стрекоз, парусами скользит твоя мотыльковая юность, которой уже нет, и печаль ее отсутствия стоит солнечной дымкой над водами тихими, ушедшими в себя, не растрачивающими буйно и бездумно энергию на штормы и бури.

4. Голод к пространству. Кривая взлета и падения

Оказывается, можно ощущать голод по пространству и движению, как по еде, питью, сну. Следующее всколыхнувшее душу событие – выход на корабле в море.

Потрясает, что в нижней точке спада волны находящиеся на корабле не видят мира, как бы полностью от него отсечены, а взлетая на вершину волны, ощущают подъем и надежду, на мгновение видят весь мир и снова проваливаются. Эти чередования взлета надежды и падения в безнадежность видятся Месу формулой человеческой жизни, а может, и всей истории.

И еще. Волна на подъеме понизу идет сильным донным током, а на спаде понизу – столь же сильным оттоком: взлет надежды порождает мощный выброс энергии вперед, в грядущее, падение же в бессилье втягивает в регрессию, в сброс, в отток, в понижение энергии жизни.

Только недавно они начали в школе заниматься математикой, и учитель, старенький, усохший жрец, дрожащими от волнения пальцами разворачивал перед ними древний драгоценный папирус с чертежом усеченной пирамиды и развернутой каллиграфической записью красными и черными чернилами вычисления ее объема, объясняя, что величие этого в общем-то несложного чертежа в том, что он знаменует начало божественных расчетов великих пирамид.

И теперь, сидя у моря, несколько в отдалении от остальных, оживленно перебрасывающихся камешками и шутками, он пытается вычертить на песке физико-математическую кривую взлета и падения волны и прямой, как стрела, вектор тока и оттока энергии понизу. Все это его волнует чрезвычайно.

Море и берег – музыка и слово.

Месу стремится всяческими уловками, что весьма и весьма нелегко в жестких условиях, соблюдаемых охраной отпрысков царской фамилии, очутиться с морем один на один при почтительно расположившейся в отдалении охране.

5. Море и берег. Музыка и слово

Музыка – покачивание, ритм.

Слово – луг, берег.

Волны языками сияюще, хлестко, с празднично-стеклянным шумом набегают на берег, песок темнеет, впитывая влагу. Даль сливает небо с водами. Ощущение, что небо начинается от берега, сгущаясь вдаль, оседает под собственной тяжестью, сгущаясь в воду, обратным движением докатываясь до берега. Белыми хлопьями на поверхности молочной синевы покачиваются чайки.

Иной день. Море гладкое, молочно-серое, сливающееся с таким же молочно-серым небом в перистых облаках. Долгие волны, с шумом накатывающие на берег, как будто специально назначены в этом залитом дремотой мире быть ритмом для усыпления.

На сером, впадающем в желтизну песке разводы от каждого языка волны – некая карта границ тайного мира, непрерывно меняющаяся сама по себе. Глаз прикован к этой стране сновидений на песке, меняющей свои очертания с очередным набегом волны, – реальное море и ткань сновидения странно смещают, казалось бы, два противоположенных друг другу мира, а на деле не могущих существовать друг без друга.

Акватория, ограниченная волноломом, вообще кажется неким одомашненным пространством.

6. Извержение из глуби вод многих. Народы моря

Море же в покое всегда вызывает в нем ощущение женственного, поглощающего начала, некой утробы, порождающей жизнь, целые народы, внезапно возникающие на горизонте, именно сразу, чтобы поразить и парализовать береговых жителей массой вооружения и кораблей.

Эта внезапность и есть великая тайна, скрытая в бездне волны: из безликой пустоши, из вод многих возникает вдруг и сразу народ моря, захватывает земли, создает города и государства, шумит и сверкает доспехами в полдень жизни, чтобы с такой же внезапностью в такой же полдень исчезнуть, не оставив даже влажного следа на песке.

Невероятна сила забвения. Целые народы возникали неизвестно откуда и исчезали неизвестно куда. Вот он, миг высадки, шум, звон оружия, семя жизни. И не успеешь проснуться во времена восточного ветра – остались лишь лоскутья воспоминаний, пустые раковины имен, ребра и обломки мачт, замеченные песком.

Народ возникает из ширей моря, как младенец из чрева матери: он криклив, шумлив, голоден, хищен и беспомощен под водопадом времени.

Можно ли обессмертить эту внезапность, это балансирование на гребне волны, это извержение кратера, которое не может постоянно пульсировать, а иссякает довольно быстро при всей кажущейся неиссякаемой мощи?

7. Копшащаяся нечисть под роскошью растительности

Возбужденные крики с хлопаньем ладоней, какие бывают при гонках на колесницах со стрельбой на скаку из луков по целям, возвращают Месу к реальности. Царские отпрыски сгрудились у окон классной комнаты храма, выходящих на огромный войсковой плац, где обычно

каждый день идет подготовка к парадом с трубными звуками меди, сверканием щитов, серповидных мечей, штандартов, копий и луков, обучение бою пеших воинов, умению управлять конями колесничих.

Оказывается, сегодня высшие военачальники, сверкая всеми регалиями и доспехами, проводят общий смотр, да тут на виду у всех и на свою беду один из воинов перевернулся вместе с колесницей, и теперь в ритме скандирующих воинов два экзекутора ритмично наносят ему, распростертому на земле, палочные удары. Вид окровавленной спины, на которой ни одного живого места, возбуждает царственных отпрысков до блеска глаз.

Ослепленный солнцем, отраженным от металла воинских регалий, испытывая легкую тошноту от вида крови и рваного мяса человека, то ли потерявшего сознание, то ли уже мертвого, Месу отходит в полутемный угол класса, оставаясь здесь один на один со стареньким дряхлым жрецом, в обязанности которого входит проверка домашних заданий и который особенно крепко засыпает под громкие крики. Длинный его передник слегка сбился набок, обнажив тонкие, жилистые, искривленные, как у козла, ноги.

Напрасно Месу пытается вернуться к прерванным размышлениям – перед ним назойливо маячит лицо сына наместника бога Амона-Ра на земле Мернептаха, который не намного старше его, Месу, отличается крепким сложением, большой силой и какой-то почти свирепой самоуверенностью, но невероятно туп в точных науках и тем более в шахматной игре, которую, как ни странно, обожает, и Месу, играя с ним, всегда выбирает защиту, с первых ходов видя его проигрыш. Вероятно, из-за этого Мернептах ненавидит его люто. На днях в присутствии Месу он ударом сбил с ног раба, начал его зверски пинать ногами, с веселым злорадством поглядывая на Месу, да и другие явно исподтишка подглядывали за Месу в ожидании его реакции. Ужаснуло Месу то, что в нем даже не шевельнулось чувство жалости при виде посеревшего, подобно труп, раба. Но более всего его поразило, когда назавтра он увидел этого раба, выходящего из кухни, улыбающегося и набивающего чем-то свое пузо.

Великий жрец Анен учит, что они самим своим рождением в лоне бога Амона-Ра и прямой родственной близостью с его наместником на земле посвящены и избраны и к ним примыкает весь цвет нации, наследующий страну Кемет – черноземную жемчужину в оправе красных песков пустыни, плодородную пойменную землю, целую наносную страну ила вдоль Нила, на севере впадающего в Великое море, но на юг бесконечного, не ведающего начала, истоков которого никто не достиг, ибо они скрыты в небесных глубях и подземных мирах боги живых и мертвых Озириса.

Почему же под этим истинным и даже ослепляющим величием таится столько ненависти и насилия, подобно тому как, приподняв роскошную до гниения растительность в болотной пойме, обнаруживаешь под ней копошащуюся нечисть?

Положим, сама мощь власти позволяет избивать раба, испытывая даже возбуждающую радость от изгояния над беспомощным существом, но вот же, в соседнем классе, где учатся отпрыски того самого «цвета нации», Месу однажды увидел, как все скопом навалились на одного из своих, лучшего ученика класса, с криками: «Чей ты сын? У тебя нет отца!» Рассвирепевший Месу уже бросился их разнимать, но его опередила охрана.

Крик этот «У тебя нет отца!» с тех пор преследует его. Старшие братья и сестры любят, собравшись у камелька при неярком мерцании масляных плошек, вспоминать об отце, ближайшем соратнике самого деда, выдающемся военачальнике, погибшем в битве с погаными амуру далеко на севере. Месу родился спустя несколько месяцев после гибели отца и, сидя вместе со всеми, может лишь завистливо слушать эти воспоминания. Иногда тот или иной рассказчик, столкнувшись с восторженно горящим взглядом Месу, внезапно теряет, умолкает, и все вдруг, оживленно перебивая друг друга, начинают толковать о чем-то отвлеченном и малозначительном.

В эти дни безотчетной юношеской влюбленности в Анена, великого жреца, ближайшего друга самого бога в облике его наместника, который сам себя считает богом, и для всех окружающих это разумеется само собой, Месу вытеснил из памяти как лишнюю всякого основания байку о младенце, найденном в смоляной корзине в плавнях Нила, в котором он в ту ночь праздника Ипет-су, услышав рассказ фаворитки из-за стены, признал себя и оказался на грани нервного срыва.

Лишь однажды, после рассказов старших об отце, он не выдержал и, оставшись наедине с матерью, осторожно спросил ее, знал ли отец, уходя в последний раз, что вскоре он, Месу, появится на свет. И внезапно увидел такую боль в глазах матери, что поспешил перевести разговор на другую тему, а затем и вовсе ретироваться.

8. В пантеоне богов

Анен – крупный наголо бритый мужчина средних лет, в набедренной повязке и свисающим от нее до пят переднике, с несколько выпуклыми глазами и узкими, как лезвие, губами, выражающими открытое тщеславие и жесткую уверенность в том, что его недостаточно возвеличивают, хотя, услышав его низкий хрипловатый голос, юноши широко раскрывают глаза и рты, ловя каждое его слово.

– Нет времени, кроме времени, – говорит Анен, – и Солнце бог его, умирающий в ночи и заново рождающийся утром, проходящий в течение года над двенадцатью областями потустороннего мира и ежеминутно открывающийся нам в солнечных и водяных часах. Мы, истинные сыны страны Кемет, слишком любим жизнь, и эта неистовая жажда души преодолевает преграды между живыми и мертвыми, продолжая жизнь по ту сторону этого мира, и мы поднимаемся туда по ступеням великих пирамид, возникших по образу песчаного холма, который образуется ветрами небесными по подсказке богов как символ подъема и перехода в потусторонний, но столь же реальный, как и наш, мир.

Итак, вступаем в пантеон богов, хранителей нашей прекрасной Кемет, срисовываем их тщательно, ибо они концентрируют в себе жизненную силу. Само очертание и знание их держит в себе эту силу. Более того, понимание себя как жизненных сосудов этих богов говорит о нашей глубинной связи с небом и этими богами. Вот бог богов – сокровенный Амон, выступающий в двух ипостасях – незримой и зримой: в первой – в короне с двумя высокими перьями и солнечным диском, во второй – богом Ра, человеком с головой сокола в двойной короне, богом Солнца, плывущим в своей дневной ладье по небесному Нилу, а в ночной ладье – по Нилу подземному. Потому мы и называем этого бога богов Амоном-Ра, главным покровителем нашего любимого властителя, наместника этого бога на земле, имя которого со страхом повторяют этот и тот миры, царьки севера и народы моря.

Теперь рисуем Озириса, спеленутого мумией, в белой короне с двумя перьями и знаками царской власти в руках, тело окрашиваем в зеленый цвет – цвет жизни. Он – владыка загробного мира, коварно убитый и изрубленный братом своим Сетхом. Но жена его, Изида, чарами своими собрала тело и зачала от мертвого мужа сына – бога Гора, победившего в борьбе Сетха и оживившего оком своим, великим Оком Гора, идущим от небесных тайн и подобным Солнцу, отца своего Озириса (Месу вздрагивает, вспоминая Око, вдвинувшееся в поле его зрения в младенчестве, огромное, ибо его не с чем сравнить, в окружении дряхлых, пахнущих чем-то пугающе мертвым складок, таящих сладкую улыбку подозрительности и угрозы).

Прилежно срисовывает Месу богов, но у него свои предпочтения: боги Птах и Тот. У Месу особая страсть к священным знакам-рисункам, врезанным в камень. Народы северных островов Великого моря называют их иероглифами. Бог Птах сотворил мир посредством слова. Бог Тот изобрел иероглифические знаки и покровительствует писцам-*хартумам*, кончик пера которых, *хартом*, похож на клюв, пьющий чернила. Бог Тот – маг, ибо знает все тайные

имена богов, хранит ключи рождений, смертей, круговорота дней и годов, неотступно следит за весами в загробном мире Озириса, взвешивающими добро и зло в сердце покойного.

9. Вода – незамутненное зеркало души

Отметив прилежность учеников, срисовывающих богов, Анен продолжает, стараясь быть как можно более понятным:

– Сочетание разных, иногда несовместимых элементов зримого образа того или иного бога может показаться произвольным. Но именно в этом и скрыта великая логика богов. Она могла открыться всего на миг древнему жрецу-одиночке, чтобы стать достоянием всей нации на века. Как это открывается? Естественно, не напрямую. Пример: вы всматриваетесь в стоячее зеркало воды и постепенно, сами того не замечая, отключаетесь от окружающей суеты. Вы погружаетесь в себя, в некоторый сладостный созерцательный покой. Но миг – и мысль возникла, как озарение: вода – это темное и в то же время незамутненное зеркало души. Так и древнего жреца коснулся божественный жезл. Или на глазах его распустился цветок лотоса. Энергия личности жреца достигла уровня бога, и тот раскрылся ему, какой он есть, и таким вошел в пантеон нации. Личностное – вот писцовое перо нашего сознания и души.

На миг Месу пришла кощунственная мысль, которую он тут же отогнал: стройность размышления великого Анена скорее похожа на логику шахматиста, чем на деяния богов, сотворивших мир, а пантеон этих богов скорее подобен оранжерее и зоопарку при дворце царской семьи, полным диковинных форм растений и животных, где правит не логика, а экзотика.

Кто он, Месу, чтобы оказаться сосудом, хранящим скверну этой мысли, и откуда ее принесло?

10. Ибрим-евреи и жрец Итро

– Мы, соль земли Кемет, – говорит Анен, – почвенники и солнцепоклонники. Наш повелитель вещает устами зримого бога Ра-Солнца. Именно он удостоен божественного умения спускаться в глубь самого себя и там ощутить слияние с незримым солнцем – богом Амоном. В едином озарении открываются ему пространства, границы, народы – страшная и великая, подобно смерти, пустыня в сторону заката и в сторону восхода, над которой неотступно карающим богом Ра виснет солнце. Оно выпивает малейшую каплю воды, испепеляет воздух, годами не дает возникнуть ни единому облачку. А с юга вдобавок ко всему надвигается ветер-хамсин взвесью пыли, пекла и суши.

Но насколько Амон-Ра карающ, настолько и милосерден, и с семи порогов небес пускает воды Нила, великого Хапи. Потому управляющий Нилом управляет поднебесным миром. Сама по себе необъятная власть наместника Амона-Ра на земле отмечает вопрос, как он эту власть получил: понятно, из рук бога богов. Но угроза стране Кемет – лишь с севера, откуда легче всего в нее проникнуть. А там кочуют народы, кои власти повелителя предпочитают свободу и зависимость от случайных дождей. Когда же их нет, народцы бегут от голодной смерти к нам, и бегут они с тех мест, где каждая кочка имеет царя, и каждый из них амбициозен, обидчив и коварен. Потому они все время дерутся между собой, и в этом наше спасение.

И потому повелитель наш бдительно следит за тем, чтобы они не объединились и, спасенные милостью нашей, не размножились на нашей земле, подобно саранче, как эти хабиру-ибрим-евреи.

Последние слова великий Анен произносит, брызгая слюной и багровея.

Две темы могут довести его до припадка – ибрим-евреи и жрец Итро, тоже иноземец, преподающий языки и все виды письма – иероглифического, жреческой скорописи, клинописного. Тут, вероятно, срабатывает подсознательное чувство ревности и зависти, ибо Итро

единственный из жрецов, который может тягаться с ним, великим Аненом, далеко позади себя оставляя других предсказателей и советников повелителя, которые подобно им, школярам, знающим весьма мало, выскакивают по любому вопросу, чтобы только еще раз выразить властителю поднебесного мира свою верность. Итро в своих предсказаниях сух, но в достаточной степени точен, и наместник Амона-Ра часто предпочитает его великому Анену.

11. Бойня

Вот и в этот миг, весьма кстати, один из школяров выскакивает с вопросом:

– Великий Анен, как же так? Черный бык Апис – священное животное, бог, а быков во множестве убивают на бойнях?

– Прекрасный вопрос, – успокаивается и снова возбуждается великий Анен, – черный бык Апис с белым треугольником на лбу и белым ястребом на спине, по сути, не должен существовать в природе, но его, пусть редко, находят, и, значит, он – от богов и неба. Точно так же, как божественное – в вас, сыновьях и внуках великого повелителя земли и неба, наместника Амона-Ра, так есть и говорящая скотина – рабы и чужеземцы, и бессловесная скотина – быки, идущие на бойню. Чрезмерное милосердие стерло с лица земли немало царств.

Дернул дьявол школяра за язык: великий Анен, любящий немедленно подкрепить теорию практикой, ведет их на бойню, тут же в храме, работающую с восхода до поздней ночи. Все встречающиеся на мути падают на колени, стелются спинами. Дежурный жрец, чуть не умирающий от благоговения перед великим Аненом, подает ему чашу с курящимися благоговениями. Откормленный до огромных размеров и веса бык с продетой через ноздри веревкой и нелепыми страусовыми перьями между рогами передвигается с трудом, тупо и обреченно глядя на великого Анена, кадящего чашей перед ним и произносящего скороговоркой, как это делают дети, играя в прятки, торопясь скорее проговорить считалку: «Жертва быка, чистого ртом, чистой бойне храма Амона-Ра». С невероятной ловкостью профессиональных головорезов четверо набрасываются на эту грозную гору живого мяса и при помощи той же веревки мгновенно ее опрокидывают. Один хватает голову быка, оттягивая рогами вниз, горлом вверх. Коротким серповидным ножом мясник вскрывает быку вену, сливая бьющую толчками кровь в сосуд, ритуальным жестом показывая великому Анену ладонь в крови. «Чиста!» – уверенно, как сам бог, произносит великий Анен. И вот уже отделенная голова быка, с тупо остекленевшим удивлением в глазах глядя на собственную в два счета разделяемую тушу, проплывает, подобно голове сфинкса, мимо царских отпрысков, впервые воочию видящих освященное богами убийство, зачарованных топорами мясников, врубающихся в гору мяса подобно каменотесам, да летящими во все стороны брызгами крови.

Великий жрец Анен омывает руки, входит в молельню, и ученики его вслед за ним. И голова его тоже чудится отделенной, плывущей и несдвигающейся поверх дымных воскурений, и губы его возносят молитву Солнцу – богу богов Амону-Ра, источнику света и жизни, молчаливому страннику, величавому правителю.

И весь этот перегруженный событиями, впечатлениями, размышлениями о Дельте и море день с прожорливым ржанием медных труб военного парада, возвышенным проживанием в лоне богов, с ползущей лоскутьями и кровью спиной избиваемого и убиением живого существа, хоть это и гора бессловесного мяса, мог бы показаться Месу какой-то безумной смесью ханжества и жестокости, фарса и фальши, если бы не задыхающаяся, истовая искренность великого жреца и учителя Анена в дымном куколе молитвы, подобно узнику в каменном мешке, томящегося по приходу божественного озарения, призрения, осияния, в последнее время столь долго не посещавших его душу и дух.

Глава третья Сошествие к Озирису

1. Загон. Первый гон колесниц

Вероятнее всего, с той охоты в пустыне началось постепенное, но ощутимое его учениками восхождение духа великого Анена к осеняющим его силой и славой богам.

К охоте готовились загодя, и великий Анен получал донесения о подготовке, как получают репортажи о готовящемся сражении. Он излучал такую уверенность, поправляя профессионалов, посвятивших жизнь охоте в пустыне, что те просто терялись, смиренно выслушивая его требования: то долина, куда собираются загонять дичь, недостаточно глубока, склоны недостаточно круты – животные убегут, не помогут сети, преграждающие им путь; то недостаточно корма для приманок, ловушек, воды для питья.

Когда на охоту собирался сам наместник Амона-Ра на земле, это превращалось в целое празднество. Здесь же речь шла о учебной охоте, но великий Анен был неумолим.

В назначенный день на колесницах выехали до восхода солнца. Неслись плотным строем, возглавляемые – ноздря в ноздю – великим Аненом и Мернептахом: при всем своем тщеславии и величии первый предпочитал не дразнить любимого сына наместника бога Амона-Ра, отдавая ему дань уважения. Колесницы их по роскоши не намного уступали колеснице самого повелителя поднебесной страны Кемет золотом чеканки, упряжью с золотыми дисками и металлическими пряжками.

Месу по возрасту был младше сыновей наместника бога Амона-Ра, но старшим из внуков. По знаниям, суждениям, умению анализировать он опережал старших, и в первую очередь Мернептаха, но колесницу имел такую же, как старшие внуки, легкую, без украшений, которой научился мастерски управлять по самым кочковатым дорогам, угадывая, почти сливаясь с каждым движением площадки, наглухо закрепленной на оси колес, подчас балансируя, как циркач на канате.

Две славные лошаденки, которых он всегда сам кормил с руки, мгновенно реагировали на малейшее движение вожжей и с отработанной легкостью сразу брали в карьер.

Мернептах, у которого была целая конюшня отборных лошадей, часто менял их и не раз проносился мимо Месу в опасной близости, явно поддразнивая. А однажды почти впрямую налетел, лихо бахвалясь, затормозил на всем скаку и, ухмыляясь, на виду у всех отпрысков царской семьи предложил скакать наперегонки. Уклониться не было возможности, все вокруг хлопало в ладоши, кто-то уже поднял руку. Опустил, и в тот же миг лошаденки Месу взяли в карьер. Ненавязчивое напряжение вожжей давало им ту свободу, при которой в полную силу развевывалась их скрытая сущность, их истинный талант – в беге. Кони же Мернептаха, гораздо более мощные, трепетали, ощущая передаваемую по вожжам свирепую самоуверенность хозяина, рвали напропалую, но врозь, без малейшей слаженности.

После такого поражения Мернептах еще более возненавидел Месу, но последний стал истинным героем в глазах младших царских сыновей и внуков, которые тоже немало терпели от Мернептаха.

Теперь же Месу несли сзади, вместе со старшими внуками, в глубине души радуясь, что им предстоит стоять начеку подальше, на случай, если раненое или ловкое животное все же выскочит из сетей, не дать ему уйти, добить стрелой или копьем.

За невысоким обломом красного нубийского песчаника, полужасыпанном волной песка, приближающуюся галопом свиту ждут охотники и слуги с плетеными из пальмовых веток

корзинами снеди, бурдюками пива и воды, мешками и опять же корзинами – для будущей дичи. Псаря с трудом удерживают свору борзых.

Осторожно выглянув из-за облома, Месу сразу же видит нечто поразительное: тонконогие страусы танцем приветствуют восходящее солнце.

Только затем он различает, что танцуют они в глубине долины, где кое-где видна зелень, даже поблескивает вода родника, к которому изящные газели осторожно тянутся губами, не обращая внимания на носящихся вокруг них в абсолютной безопасности диких буйволов. Детеныш газели взобрался на край оврага, приюхиваясь к слабым порывам ветра, явно идущим с противоположной от охотников стороны, ведь операцию готовили профессионалы, умеющие учитывать и не такие мелочи.

Эту утреннюю пасторальную картину собравшихся вместе животных, ничего не подозревающих, беспечно радующихся жизни, Месу запомнит на всю свою жизнь.

Сигнал. Дождь стрел обрушивается на животных, разъяренные борзые почти стелются в воздухе, дикие буйволы сокрушены на месте, пес на лету перегрызает горло детенышу газели. Визг, стоны, свирепая грызня борзых, исходящих пеной, и поверх освещаемого набирающим силу солнцем побоища, с нечеловеческим наслаждением вдыхая запах горячей крови, бледный и величественный, воистину подобный богу, стоит великий Анен, выпуклые глаза его еще более выпучены, словно ему трудно дышать, хотя он почти не напрягался, пуская из лука свои точные стрелы, да и невозможно было не попасть, столько животных собралось в этой узкой, благословенной травой и источниками долины, и ни одному из них спастись не удалось.

Бессмысленная улыбка стынет на лице Мернептаха, остальные же отпрыски царской семьи как-то странно хихикают: увиденное еще явно не для их неокрепших нервов, но именно это и является целью великого жреца и учителя. И не давая даже мгновения для передышки, он с гиком срывается с места в обратную дорогу, оставляя горы дичи прислуге, за ним Мернептах и все остальные. И несется Месу на колеснице, отчаянной лихостью пытаясь вышибить из памяти, хотя бы на время, все, недавно увиденное им, – этот ослепительно кровавый пир насилия и беспомощности, разнузданно торжествующей некрофилии, воистину божественной свирепости великого Анена, который, как истинный знаток юных душ, не дает им возможности остаться наедине с собой после перенесенного потрясения.

2. Водоворот ночной мистерии. «Мы, дети солнца...»

И вот они уже на огромном царском корабле, расцвеченном вымпелами, огнями, едва подкрепившись, плывут на юг, вверх, против течения Нила, в натекающую тьмой ночь, в Ипетсу, в город нескончаемых храмов. И великий Анен стоит на палубе, овеваемый ветром, освещаемый огнями, непривычно огромный, и тень его преломляется в водах, он виден с берегов, вдоль которых, к удивлению учеников его, царских отпрысков, тысячи тысяч факелов в явно молодых руках колышутся из стороны в сторону.

Два берега – два сплошных потока факелов, да еще один поток на водах, вереницей лодок и плотов, сопровождающих корабль. Всё это неожиданно для полных смятения душ будущих властителей страны Кемет, все это стесняет дыхание восторгом и страхом, вызывает слезы, когда внезапно, подобно тем же факелам, перекатываясь вдоль берегов и по водам, несется:

«Великому посланнику Амона-Ра Анену и царственным ученикам его – сла-а-ва-а!»

– ...Ла-а-а-а-а!.. Ла-а-а-а-а!

И вправду, подобны лаве огненной факелы, взметаемые сжатыми кулаками тысячей тысяч юношей и девушек.

«Великому повелителю миров, поднебесной страны Кемет, детям и внукам его – наша любовь и жизнь и вовеки веков – сла-а-ва-а!»

– ...Ла-а-а-а-ва-а-а-а!

Далеко за полночь великий Анен ходит на берег, он подобен божественному вихрю, вытягивающему в завихрения учеников своих, стремителен и неутомим, и весь подсвеченный огнями храм храмов бога-богов Амона-Ра распаивается навстречу ему семнадцатью тысячами бронзовых статуй, где самый малый обелиск высотой в двадцать человек среднего роста, если поставить их друг на друга, и массы молодых людей с факелами стоят вдоль их пути, обозначенного сотнями сфинксов, из храма в храм, и все храмы соединены воедино экседрами, и кто-то идущий с ними во тьме громко считает гигантские колонны из песчаника высотой в двенадцать человек среднего роста и обхватом в семь человек, если они возьмутся за руки: сто тридцать четыре такие колонны поддерживают первую анфиладу. И вот – первые ворота высотой в двадцать шесть человек среднего роста в зал, которому во тьме не видно конца и краю.

Всё это они изучали на уроках архитектуры, рисовали и считали. Но реальность, да еще во мраке ночи, лишь подсвеченная колеблющимися факелами, превышает все силы воображения.

Великий Анен в дымных облаках благовонных воскурений чудится парящим в воздухе. Он не только огромен, громом звучит его голос в мертвой тишине, освещаемой мириадами факелов, и за каждым затаившее дыхание существо.

– О, повелитель бессмертной мудрости бог Тот, укором, уроком, призывом восстать и прозреть звучат слова твои: о, Кемет! Исчезнешь ты с лица земли вместе со всеми своими сокровищами. Останутся лишь иероглифы, врезанные в камень!.. Мы слышим слова твои, и точно так же, как мы существовали тысячи лет, мы будем нести на плечах своих грядущее наше – тысячи тысяч лет!.. Клянемся великой клятвой!..

Словно медленное, глухое, нарастающее издалека, вдоль берегов и по водам Нила, покрывающее смятенное пространство ночи и взорвавшееся извержением в колеблющемся, подобно маятнику самого времени, гигантском безмолвии храма храмов – эхо:

– Клят...

– Кля-ят...

– Кля-я-я-ят...

Смятые собственной беспомощностью, смятенные, сметенные миллионноголосым ураганом, ученики как зачарованные не отрывают глаз от великого учителя, и в глазах их тлеет, как в лампадах, смесь восторга и подавленности. Это и есть мистерия в высшем своем выражении, думает Месу, вспоминая урок великого Анена о мистериях: они требуют упражнения разума, интуиции, воли, ибо это вовсе не мистические фантомы и не сухое обучение. Это – сотворение в нас души собственными ее силами.

– Чужеземцы, принятые нами по широте души нашей, – гремит голос великого Анена, благодаря акустике как бы несущийся с небес, – спасенные нами от голодной смерти, спят и видят исполнение страшных твоих пророчеств, бог Тот. Они не верят в наших богов, противопоставляя им какое-то варварски невразумительное божество. Да, они прозябают, само их отрицание наших богов доказывает, что боги наши отвергли их и лишили разума. Но они хитры и мстительны, они несут внутреннюю угрозу нашей прекрасной Кемет. Настанет день, придет конец нашему терпению, и наши мечи и копья понесут им наше проклятье!..

И опять, сотрясая землю и небо, несется, подобно песчаной, голосовая буря:

– Клять...

– Кля-ять...

– Кля-я-ять...

– С нами мертвые наши предки, великие и малые, – по ту сторону Нила, великого Хапи, в этот предрассветный час вставшие из своих саркофагов, парящие над своими гробницами. Пока еще не возродилось Солнце, пока еще бог Ра не взошел ослепительным днем, я буду говорить с вами, мертвые предки наши, чьи души обитают в небесной стране Кемет, я буду говорить с вами о существе, имя которому человек.

Что он такое, как не пылающий факел, огненная щель, и через нее проникают к нам смутные, но убеждающие образы богов, а к вам – неизбывная память прожитой вами по эту сторону жизни.

Мы еще пребываем в предрассветной тьме у подножья гор, а вы уже на их вершинах, лицом к открывшейся вам бесконечности, навечно соединенные взглядом с богом Ра – черным Солнцем днем и раскаленным добела ночью, и через бездонные колодцы ваших глаз мы черпаем жизненную силу бога богов Амона-Ра.

Мы – дети его, питомцы Солнца, его перерождения и вечного возвращения, мы ощущаем в себе неистовое его пробуждение и священную ненависть к тем, кто не верит в него в упрямой своей гордыне.

И в этот миг восхода солнца мы, молодежь, будущее великой страны Кемет, в едином порыве возносим кулаки, видя плавное чудо вздымания из мрака подземных миров Озириса ослепительного Ока бога Ра, видя души ваши, возносящиеся над гробницами вашими, как дым над костром пастуха, стерегущего свое стадо в ночи!

Озноб прошел по телу Месу: именно в этот миг первый луч солнца ясно очертил бесконечный каменный лабиринт храма Амона-Ра и по ту сторону Нила воскурились тонкими столбами светлого дыма гробницы бескрайнего некрополя.

Вздых удивления, страха и восторга вырвался из тысяч уст, покатился волной, утихая в дальней дали. Тысячи высветившихся молодых лиц – мужских и женских – замороженно замерли в экстазе, тысячи их почти нагих тел – в набедренных повязках, а то и без – окаменели, как в столбняке. И вновь кощунственная мысль пришла Месу из глубин забвения, которое он так долго пестовал в себе: именно в таком состоянии взвешенности легче легкого швырять младенцев, детей врагов своих, в воды Нила, считая, что творишь священное дело.

И мы клянемся чистотой крови, шлифующейся из поколения в поколение, уроженцев поднебесной страны Кемет, чистотой крови ее избранных – принцев, сыновей и внуков наместника бога Амона-Ра на земле, быть верными заветам вашим, дорогие наши мертвые предки. Нерасторжима, непобедима и страшна наша клятва!

– Кля-ят...

– Кля-я-я-ят...

Тысячи тысяч кулаков взметены в воздух, столбняк тел вдоль берегов чудится окаменевшей живой лавой с запекшимися отверстиями ртов у ближних, ясно различаемых, и из отверстий этих как бы сам по себе возникает этот долгий, сверлящий душу звук:

– Кля-я-я-я-я-я-ят...

Избранные принцы валятся с ног от усталости, а в великого Анена с восходом солнца словно вселилась новая сила, и ступает он на корабль, а ученики плетутся сзади и, не добравшись до кают, засыпают прямо на палубе под слабое покачивание движущегося по течению судна, а великий Анен в той же величественной позе принимает катящийся вдоль берегов вал почтения молодых, животно раскрепощенных солнцепоклонников, но даже внезапный гром вкупе с землетрясением не способны разбудить будущих правителей поднебесной страны Кемет.

3. Восхождение к Горемахету

– А день только вступает в свои права, и празднество разгорается с новой силой, сбрасывают на берег сходни, сам великий Анен тормозит спящих принцев, и те, продрвав глаза, застывают с открытыми ртами: все пространство от Нила до трепещущих в ослепительном пекле конусов дальних великих пирамид заполнено народом. Людской гул подобен охваченному бурей морю, в эти мгновения мирно замершему серо-синей цельной мощью по всему северо-западному краю мира.

Может показаться странным, но до сих пор царские отпрыски не побывали у великих пирамид, почти ежедневно в тихие, сладостно-меланхолические часы заката видя с крыши дворца их фиолетовые конусы на фоне оранжевого неба и пепельных дюн. До них было рукой подать, и потому посещение их откладывалось, а великий Анен, пытаясь расшевелить их школярски дремлющее воображение невероятными числами, произносил с таинственным придыханием имена древних властителей страны *Кемет – Хуфу, Хафра, Менкаура*, – погребенных в трех великих пирамидах, каждая из которых своим гигантизмом ставила в тупик обычное человеческое сознание – два миллиона триста тысяч известняковых блоков, и каждый весом до трех тонн, филигранно пригнанных друг к другу, поднимаются на высоту в *восемьдесят шесть* человек среднего роста, поставленных один на другого, пирамидой Хуфу. Пирамида Хафры хоть и на два человеческих роста ниже, но охраняется великим и страшным Горемахетом, что означает «Гор на небосклоне»: Гор – это сам правитель Хафра, а небосклон – место, где Хафра в момент смерти слился с богом Солнца Амоном-Ра.

– О, *шесеп-анх Хафра*, живой образ Хафры, голова твоя слита с телом могучего царя пустыни – льва и крыльями орла, – раскачиваясь, вещал великий Анен, – лик твой, столь близкий нам всем, несет ужас северным народам, называющим тебя последней тайной мира сфинксом. О, Горемахет, достигающий высоты в десять человек среднего роста и длины – в тридцать три человека, растянувшихся на земле головой к ногам следующего. Только нос твой равен длине человека среднего роста.

И вот он – перед ними, вытесанный из единой гигантской, цельной скалы.

Широкоскулое, таинственно-плоское лицо самого Хафры несет странную улыбку, то ли обращенную внутрь, к своим мыслям, то ли несколько презрительную к окружающему внешнему миру.

Кобра, символ царской власти, приподнялась над лбом.

Праздничный плат спускается с головы на плечи.

Одичало огромный, стоит он над головокружительной – в несколько тысяч лет – бездной времени, у краешка которой замер малой нахохлившейся птицей великий Анен с птенцами гнезда царского, молодыми жрецами, слугами, – все известные лица царского двора в праздничных одеждах.

А вокруг море разлитое всякого люда.

Только теперь и отпрыски семьи наместника бога Амона-Ра замечают, что великий Анен тоже необычайно празднично одет, и драгоценные камни переливаются на его нагруднике. Да отпрыски и сами не успели заметить, как их, спящих на ходу, слуги облачили в праздничные одежды. К тому же интенсивность окружающей мистерии столь ослепительна и велика, что не только не замечаешь того, что рядом, а теряешь самого себя.

Свита царского двора, сановники и жрецы почтительно расступаются перед великим Аненом и его царственными учениками, поднимающимися к входу в пирамиду Хафры.

Где-то посредине пути останавливаются, ибо сам вид с высоты птичьего полета дрожащих в жарком мареве широко раскинувшихся пространств пустыни, моря, дельты заставляет замереть и прислушаться к биению собственного сердца, явно с трудом выдерживающего нагрузку ночи, вчерашнего и сегодняшнего дня. А ведь пирамида Хафры всей мощью своей высится над головами, и поднялись они всего-то на высоту девяти человек среднего роста.

4. Из света во мрак: как падение в колодец

– Взгляните на дом вечной жизни Менкаура, вспомните, что я вам читал из «Книги мертвых» о князе, приближенном к властителю Менкаура. Князь этот нашел главу книги в одном из храмов. Прочитал ее и перестал видеть, слышать, есть мясо и рыбу, приближаться к женщине, ибо только великие посвященные, подобно нашему повелителю, наместнику бога богов

Амона-Ра на земле, могут спускаться в страну мертвых и выйти оттуда живыми, невредимыми, набравшимися божественной силы и мудрости.

Так говорит великий Анен, стараясь задержать выдох, чтобы затем долгим глубоким вдохом словно преобразиться на глазах – голос его снова обретает тот металлический пафос, которым он потрясал в ночи замерший безмолвным переходом между этим и тем миром храм Амона-Ра:

– В тот час, когда мы встречали рассвет на охоте в пустыне, наш повелитель, ваш отец, наместник Амона-Ра, сошел в тьму ночи, к великому хозяину этого *спуска*, у входа в который мы стоим, властителю древности Хафре, в подземный мир бога Озириса и великой матери Изиды. Не было у отца нашего ни лучников, ни колесниц, ни жрецов, ни охраны. Один, почти нагой, во спасение наше пребывал он во мраке вечной ночи в то время, когда над нами прошли день, ночь и ныне новый день. И в этот миг мы, самые близкие ему души, сходим к нему в дом вечной жизни Хафры, чтобы сила первых слов отца нашего после выхода из страны мертвых излилась мощью того и этого миров, подобно мирре и елею, на наши головы.

Охрана, вытянувшись по струнке, стоит у входа в темный, с редкими светильниками, идущий вниз коридор, куда ныряет великий Анен и отпрыски царской семьи за ним.

Ослепительное пекло разгорающегося дня отсекается, как ножом, краем входа, сухой мумизированной тьмой, наклонно втягивающей в себя.

Резок, внезапен, как падение в колодезь, в обморок, переход от *света* и воздуха неохватных пространств, рева и гомона людских масс в узкий – подобный глотке, кишке, всасывающим или вбрасывающим в чрево, – *мрак*.

Удушающая память боли родовых схваток, некоего обратного действия с кольцевым сжатием черепа и выбросом из тьмы в свет, из смерти в жизнь, вывернулась невероятным витком из забвенных глубин сознания. Месу изо всех сил борется с наплывом слабости. Напор сзади других отпрысков семьи царской, почти невидимых и потому враждебных, оборачивается ощущением безвыходности, отчаяния, тут же сменяющегося безразличием: будь что будет.

И в этот миг, как спасительная соломинка, за которую можно не только ухватиться, но через которую можно и дышать, раздается странно измененный голос великого Анена – или это один из тускло мерцающих впереди огоньков разворачивает пламя лепестков своих, подобно белой розе?

– О, роза Изиды, цветок мудрости и печали, ты пылаешь в руке повелителя поднебесного мира, только что вернувшегося из страны мертвых супруга твоего бога Озириса, и возвращение это – как рождение заново, как невозможное прохождение через глубокую глотку смерти, которая обречена лишь умению – *заглатывать*.

5. Ослепительное крыло вседозволенности

Некое иное звучание, подобное шелесту тростников в водах Нила, и вправду коснулось лица Месу прохладным елеем, обернулось первыми словами, затем и плавно текущей, подобно водам того же Нила, исповедью властителя всех миров и страны поднебесной Кемет:

– Дети мои, во имя всех нас и мира живого сошел я в мир мертвых, к хозяину дома этого, великому Хафре. Вначале бодрствующий дух мой Ка, хранитель жизненных моих сил, отдалился от меня, и мрак мира сего сжимал и не отпускал меня. Внутренним зрением, отделившись от времени, видел я восходящее солнце Хепрер, солнце в зените Ра, солнце закатающееся Агум, а Ка не возвращался. Совсем я отчаялся.

Но вдруг вдалеке смутно возник все более набирающий силу и свет красный диск, обвитый телом кобры с крыльями коршуна – печать на входе в мир бога Озириса. Мгновенно ко мне вернулся мой бодрствующий дух Ка, который должен был помочь мне слиться с великим

Хафрой, – в ужасе и восторге ощутил я, как выползает кобра из-под покрывающего мою голову плата, тело мое обретает форму, мышцы и когти льва, по бокам вырастают крылья орла.

И услышал я голос: «О, Горемахет, путь в страну мертвых открыт, сходи же!» Солнечная печать высветила вход, сознание и дух мой изменились, и я начал сходить в покои смерти, во внутреннюю нашу отчизну, сбрасывая, как цепи, все физические и символические связи с этим миром. Словно бы кто-то громом нашептывал мне: «Долой разум, да здравствует интуиция, да освятятся хлеб и вода, да прольется кровь жертвы!»

Но не было никаких громов и молний, просто пелена спала с глаз и я ощутил всю остроту своего существования.

И вот я среди дорогих наших мертвых предков, повелителей мира, и глаза их неотрывно и навечно устремлены к Солнцу – Амону-Ра.

Как прекрасная страна наша Кемет держится физически на осях колесниц наших, так духовно держится она на оси вечной глаз великих мертвецов наших, протянутой к Солнцу – Амону-Ра.

И одно колесо божественной колесницы – само Солнце, второе – Земля и народ Кемет в кольце власти, отпущенной мне богами.

В полном безмолвии стояли они, великие наши предки, но за ними темной глубиной бесконечного стоял некий смысл, захватывающий их и меня целиком, и мы были все единой силой бессмертного действия в сонме богов.

Мне оставалось лишь зачарованно прислушиваться к священным ритмам своей души.

И рядом распахнуто дышала бездна изменения, обновления, посвящения, полного превращения в бога.

Теперь я был свободен, вторично рожден.

Вседозволенность ослепительным крылом опахнула меня.

Отныне гибель людей во имя бога Амона-Ра – священна.

Уничтожение врагов, даже если они еще младенцы, – священно.

Очищение расы и крови от чужеземной примеси – священно.

«Велика опасность чужеземцев, – шептал мне все тот же голос, – особенно хабиру-ибрим с их невидимым богом, воздающим за грехи. Это подобно яду ослабляет глубину веры нашей в священность животных, деревьев, почвы, трав, природы. Они враги наши, ибо не живут естественным инстинктом, а на наших богов смотрят свысока, хотя сами прозябают в нищете и грязи, а значит, и в зависти тайной и жадном желании паразитировать на нас и обкрадывать».

И после этого, обновленный и возрожденный, начал я читать про себя наизусть главу «Восхождение к Свету» из «Книги мертвых», чувствуя, как с каждым словом возвращается ко мне жизненная сила и я медленно и тяжело, но уверенно выхожу из ночного спуска в страну мертвых, как выходят из тьмы и толщи вод многих на берег, ослепляющий ранней зарей – предтечей Солнца – Амона-Ра!..

С этими словами вспыхнули факелы по углам гранитной гробницы, и, после исповеди отца и деда, расслабленный, воистину научившийся дышать сквозь соломинку, витающий, как сомнамбула, Месу видит в какой-то мерцающей дымке сверкающее золотом и драгоценными камнями кресло рядом с гробницей, а в нем старичка, довольно хилого телом и бледного ликом, в одной набедренной повязке и плате, вероятно покрывающем лысину. Показалось даже, что одна рука короче другой и скрючены, будто срослись, пальцы ног.

Но у входа вострубили трубы, слабо доносясь в глубь камня, как сквозь слой воды.

Великий Анен властно приказывает ученикам прижаться к стене, мимо пошла прислуга, и по мере ее прибывания усталый старичок начинает меняться на глазах: на лицо наводят грим, надевают круглый парик с диадемой, закрепленной сзади спускающимися на затылок подвесками и золотой коброй, чья голова с раздутой шеей поднимается над серединой лба. Белый царский плат с красными полосами прикрепляют золотой лентой к голове и поверх всего взгро-

мождают корону бога богов Амона – два высоких пера на рогах барана, между которыми сверкает золотой диск, обрамленный двумя кобрами. Накладную бороду прикрепляют к парику. Тяжелое ожерелье из нитей бус и застёжки в виде двух голов сокола вместе с двойной золотой цепью – на шею. К набедренной повязке подвязывают передник из драгоценного металла, закрепленный широким поясом с металлической пряжкой и бычьим хвостом сзади. Поверх всего накидывают длинную прозрачную тунику с короткими рукавами, надевают сандалии из металлических пластин.

6. Причащение к тайнам земли и неба

И вот он, воистину наместник бога Амона-Ра на земле, восходит к выходу, налагая рукой в сверкающих браслетах благословение на головы сыновей и внуков. В глубоком поклоне великий Анен подает ему скипетр с головою овна, повелитель в свою очередь налагает на голову великого жреца белую тиару и садится на парадные носилки, в широкое кресло под балдахинном.

Трубы возвещают морю волнующегося люда выход повелителя поднебесной страны Кемет – великого, живого, невредимого – из мира мертвых, из царства Озириса и Изиды. Грохочут священные трещотки. Двенадцать телохранителей и носителей опахал выносят божественного, сверкающего наместника бога богов Амона-Ра.

Впереди – царские сыновья и внуки, высшие сановники. Мернептах, исполненный важности, покачиваясь после выхода из удушливой утробы дома живого Хафры, несет на подушке, вышитой золотом, скипетр отца. А сзади – масса цветистых штандартов, знамен, возбужденных лиц.

И Месу, сам словно бы заново рожденный после пережитого в удушливой тьме, парит с легкостью птицы в воздухе. Ощущение религиозного экстаза несет его вместе со всеми в стоящий неподалеку от великих пирамид храм, раскрывающийся перед ними многоголосым хором, ноющим божественный гимн.

Ангельские голоса всплывают над сатанинской тяжестью басов, как масло на поверхность вод. Чувство парения в небе в то время, как Ноги притянуты к земле, впервые столь отчетливо и восторженно причащает Месу к тайнам земли и неба.

И чудится завершающим взрыв голосов, взлетающих ввысь вместе с душой, ибо нечто более мощное непереносимо.

Финал, обрыв или пауза?

Слышен кашель людей, почти потерявших дыхание, шарканье переступающих, подламывающих от долгого стояния ног.

Но, поднятый на высоты храма, сверкает причастностью к богам наместник Амона-Ра на земле, покрывая своим сиянием все человеческие немощи, и глаза Месу отказываются верить, что увиденный им в мерцающей удушливой мгле хилый старичок и этот всемогущий земной бог – одно и то же существо.

7. Ты подобен мякоти плода, ускользающей в глотку смерти

Внезапен следующий очередной взрыв голосов, возносящийся гимном на еще более непереносимую высоту, и, значит, душа не исчерпала своих возможностей.

Нелегко нащупать нить, выводящую из лабиринта: потянешься к солнцу – натыкаешься на камень.

Но вот – спасение: небесный хор меняет торжественно прижимающий к земле державный ритм.

Медленно, но все более раскованно переходя в некую легковесную беспечность, возникают цепью, пока еще разорванной, танцовщицы с тамбуринами, как бы осторожно нащупывая в руках и ногах своих жгуты затаенных и алчущих змей.

Звуками небесного нектара льются лютни.

Ритм учащается, змеи вырываются из плена, тела танцовщиц сливаются в гибкую живую карусель. Кажется, еще миг, и сочетание тел и движенья раскроет последнюю тайну небес, бездны, жизни.

Не хватает сердца и легких.

А танец только вступает в права.

Паузы – как сердечный перебой. Слышны лишь учащающие дыхание удары тамбуринов, постанывающие выкрики:

– Хвала и привет от тружеников земли Кемет великому повелителю нашему, Солнцу поднебесного мира!

– Хвала и привет повелителю и богу нашему от каменотесов, воплощающих в камне его божественный образ!

Что-то кольнуло сердце Месу – чей-то внезапный мимолетный взгляд из глубины экстатического вихревого танца.

Только через несколько мгновений удастся Месу, как бы не видя, уловить сверкающий проблеск черных женских глаз одной из танцовщиц, закутанной, как и все остальные, в темную, развевающуюся в танце ткань.

Сомнения нет, несмотря на мимолетность, взгляд этот направлен только на него, жгуче и требовательно устанавливая ось между их глазами, подобную оси глаз мертвецов, связанных с Амоном-Ра, о которой вещал дед, выйдя из мира Озириса.

Но ось эта живая, и связывает она нечто кровное, тайное, близкое и пугающее...

Что с ним происходит?

Он чувствует себя подобно мякоти плода, растекшейся по небу или ускользающей в глотку – проход между двумя мирами, а собственная его душа, суть его сути, слабо ощущается косточкой того плода, которую сейчас небеса или эта неизвестно кому принадлежащая всепоглощающая глотка выплюнут в песок, в прах.

– Хвала и приве-ет...

– Хвала и приве-е-ет...

В исчезающую долю времени – среди всего этого рева, вихря, потери всяческих опор, пронзительно устанавливается слуховая ось безмолвия между ним и приблизившейся к нему почти вплотную танцовщицей.

И сквозь стихию всеобщего пения пробивается твердый, как та самая косточка плода, голос, услышанный только им:

– *Привет тебе от истинной твоей матери и кормилицы! Я – сестра твоя!*

В черноте, вставшей перед глазами, знакомо сверкнул огненный лик, вознесся вихрем из медово-молочной размытости.

Обозначил живое присутствие Месу.

Пылающей головешкой обжег ему язык.

Все это может ощущаться блажью, галлюцинацией перегретого и обессиленного экстазом воображения, но сверкнувший в черноте за-глазья лик подобен огненному клинку, касающемуся того, самого сокровенного, за которым уже нет места сомнению.

И падает пелена, и устанавливается бессильное, но спокойное равнодушие.

И все происходящее вокруг воспринимается как сплошной психоз охваченного истерикой подобострастия массового сознания.

Миг, когда слепой напор вод вот-вот сломит одинокое, борющееся за свою жизнь течение.

Внезапно обострившийся взгляд Месу замечает масковидность.

Глава четвертая Ангел спасающий

1. Соты, хранящие мед и горечь вечности

Врачи, знахари, жрецы из кожи вон лезут, но облегчение не наступает. Месу замыкается в себе, с головой погружается в чтение и письмо. Потому больше всего проводит время с великим знатоком языков и разных видов письма – иероглифического, жреческой скорописи, упрощенного, клинописного – жрецом и учителем Итро, несмотря на жесточайшее сопротивление великого Анена, клятвенного ненавистника Итро: чужак возомнил себя чуть ли не пророком.

С какой-то странной надеждой, тлеющей в уголках глаз, ожидает Месу вечера, чтобы появиться со своим черным ларцом на необъятной крыше дворца, не отказываться ни от одной игры и все партии выигрывать с нескрываемым ожесточением, доказывая окружающим, а по сути самому себе, что тяжкое косноязычие и даже опасность полной немоты вовсе не превратили его в существо с изъяном, которое надо жалеть.

Наоборот – предельно обострили его интуицию и ум.

Он поражает Итро цепкостью своей памяти, с одного раза схватывающей внутренние таинственные пружины языка и письменности, то, что делает их подобными сотам, хранящим в себе мед и горечь вечности.

Письменные его ответы предвосхищают то, что Итро лишь собирался ему объяснить. «Этак, чего доброго, и я начну заикаться», – потрясен Итро, про себя читая текст Месу: «Рисунок, начертанный с целью передать звук или смысл, тут же с начертанием теряет свою первоначальность, свое первичное значение. Это уже знак. Он вступает во взаимодействие с другим знаком – и в тот же миг выступает уже как орнамент, рисунок, отвлечение, речь, закрепленная на папирусе, – но не птица, бык, дверь, верблюд, посох».

Итро, обладающий даром ясновидения, пасует перед умением этого молодого человека находить корни слов. Ведь язык в значительной степени некое чудо-чудище, само утвердившее себя и развивающееся по собственным законам. А ведь в начале, скорее всего, порождено было людьми, но так давно, что стало мифом.

Мифы, байки, шепотки.

Однажды, когда обеспокоенная мать Месу пытается через Итро хотя бы чуть укрепить явно ослабевшую связь с сыном, Итро осеняет: шепотки и байки о том, что он, внук повелителя, был найден в лоне вод нильских, доходят до уха Месу. Вот где корень внезапных изменений и скачков в настроении, в какой-то миг приведших к тяжкому косноязычию на грани немоты.

Обычно замкнутый и медленно размышляющий, Итро до безответственности скор на необдуманные решения. С каждым последующим словом жалея, что начал разговор, но уже не в силах остановиться, говорит дочери повелителя миров: он уверен, что может вылечить Месу. Единственное условие: не удивляться самым необузданным поступкам и прихотям сына и, главное, никакой слежки. Охрана – так и быть, но на почтительном расстоянии.

Позднее, взвесив сказанное, Итро остается доволен. Этот сентиментальный убийца младенцев ни за что не согласится на снятие слежки. Да и дочь не решится ему это сказать. Ведь однажды именно ей в присутствии Итро, который, как и все окружающие, воспринимается им не более чем тень, этот ласковый изверг с небесного цвета глазами, в углах которых, несмотря на все капли и мази, к вечеру накапливается гной, сказал, что в поднебесной империи Кемет не было и нет места доносам и слежке.

На этот раз Итро ошибся. Дочь повелителя миров проявляет невиданную доселе настырность. При разговоре присутствует великий Анен, который тут же становится на дыбы. Повелитель миров знает слабость великого Анена выходить из себя даже только при упоминании имени Итро.

Он изучает великого своего жреца все тем же загадочным взглядом Горемахета, которого северные народы, погибая от страха, зовут Сфинксом, взглядом крокодила, готовящегося проглотить ничего не подозревающую жертву, и странная улыбка, то ли обращенная внутрь, к своим мыслям, то ли откровенно презрительная к окружающему миру, блуждает на его таинственно-плоском лице.

2. Итро учится мыслить в движении

Первым делом Итро, после нескольких отказов, скрепя сердце дает согласие Месу: он взберется на столь ненавистную ему колесницу, видя, насколько важно внуку повелителя показать ему, Итро, свое искусство управления этой сатанинской игрушкой, предназначенной главным образом сеять смерть. Морщась, он сам удивляется легкости, с которой нарушил собственный зарок.

Дело еще осложняется тем, что Месу не хочет гонять по накатанным дорожкам. По его прихоти быстро снаряжают кораблик на юг, против течения Нила, до первого порога. Вот где, на скальных высотах, Месу покажет свое искусство, если не сломает шею себе и своему учителю.

Сидит Итро на палубе под зонтом, обвеваемый полдневным жаром. Их только двое на палубе: он да капитан в своей будке, плавно ведущий кораблик против течения. Но каково гребцам, там внизу, которые истинно в поте лица волокут длинными веслами тяжкие, как масло, воды.

Три охранника, по мнению Итро, профессиональные ищейки, дрыхнут по каким-то углам за неимением дела. Месу в своей каюте то ли дремлет, то ли угрюмо смотрит в бревна замершего и в то же время движущегося потолка.

За последние недели Итро уже привык к своенравию этого молодого человека и многое прощает ему за его невероятные способности, которые сами по себе залог будущей нелегкой жизни, уже накатывающей на него, как сворачивающийся в жгуты и змеи вал нильских вод накатывает на кораблик.

И хотя нити этих вод весело сверкают на солнце, срываясь с весел, но истинная их суть в обнаруживающейся до отрыва от весла осклизлой тягучести, делающей их похожими на каких-то несуществующих и тем не менее мерзких речных мокриц-многоножек.

Итро учится мыслить в движении.

Этот урок, сам того не зная, опять же преподавал ему Месу. Перед тем как сесть за выполнение домашнего задания, он вскакивает на чертову колесницу и часа полтора носится где-то как угорелый. Это можно определить при его возвращении по взмыленным лошаденкам и осунувшимся лицам охранников.

Обычно, находясь в дороге, к примеру на родину, в дальний Мидиан, передвигаясь пешком или на верблюжьем горбу, Итро жадно вбирал в себя окружающую жизнь, лица, их судьбы, жалобы и шутки. Но мыслить он мог лишь в абсолютном одиночестве, погружаясь в самого себя.

А этот молодой человек после двухчасовой скачки по каким-то кочкам сел и одним духом написал поистине целый трактат о водах многих, струях, жгутах, змеях, водоворотах, смертельно втягивающих омотах и воронках, обозначающих рождение независимого потока в толще катящихся вод и его борьбу за свое существование. Прочитав это, Итро неделю ходил под впечатлением и не мог думать ни о чем другом. Вот и сейчас эти тягучие нити вод заце-

пили его сознание витком тех же водоворотов из трактата Месу, который ведь и сам подобен такому лишь зародившемуся и еще не развернувшемуся потоку в неохватной массе прущей вслепую жизни.

Кораблик замедляет движение. Несмотря на ускорившуюся дружную работу весел, его начинает относить по кривой к берегу, и значит, согласно трактату молодого человека, ощущимо влияние еще невидимот, но приближающегося порога, который денно и ночью превращает мирно-слепую массу вод в клубок выпучивших незрячие бельми, дерущихся водяных змей, так и рушащихся в этой схватке с высоты. Молодой человек тут как тут, наклонился над беспокойными водами, будто усиленно ищет собственное отражение.

3. Равновесие и гон колесницы. Предчувствие падения или мощи рушащейся водопадом жизни?

Кораблик стоит в небольшой бухте, примерно в двух километрах от глухо рокочущего, отчетливо видного на солнце порога, плавание к которому длилось несколько суток. Ночью они обычно причаливали к берегу: гребцам требовался отдых и сон. Ужиная, они о чем-то бубнили внизу, и чуткое к языкам ухо Итро улавливало не-проваренную, но знакомую смесь египетского просторечия со словечками языка хабиру, ливийцев и нубийцев. Так из варварской смеси туков и возникают, вероятно, предъязыки. Болтовня охранников была менее интересна, ибо говорили они, рабски копируя и без того стерильную речь своего начальства, которая считалась языком дворцовой знати.

Итро сидел с Месу на палубе и, как истинный звездочет, вслух разговаривал с небесными телами, зная, что безмолвный собеседник весь превратился в слух.

– На родине моей, – говорил Итро, – в пустыне, после такого испепеляющего дня, воду жизни вливают в тебя ночные беседы со звездами. За многие годы я научился различать беспокойство, напряжение и даже схватки звезд. Но это случается очень редко. В основном они стоят на страже равновесия мира и души. Они-то и устанавливают ось этого равновесия между твоей душой и собственным светом. – Итро оглянулся: охранники на другом конце палубы о чем-то громко и отчаянно спорили. И все же Итро, понизив голос, почти прикинул к уху Месу: – Именно на этой оси крепится вечность, а не на той оси мертвых глаз, о которой вещал наш повелитель, вернувшись из преисподней Озириса.

О чем бы в стране Кемет ни говорили, всегда каким-то пугающим витком вворачивается имя этого голубоглазого, дряхлого, но еще полного сил повелителя. И всегда грозит затянуть этим витком в глубокую глотку смерти.

Месу встает, подходит к борту, некоторое время следит за змеяющимися на водах отражениями звезд, затем спускается к себе в каюту, зажигает светильник, пишет.

На следующее утро, после ночного бдения Месу, Итро получает от него текст на папирусе, которого еще не касались вечно влажные от жира и пота руки ищеек, ибо местами даже чернила не просохли.

«После звездной беседы я всю ночь думал о чуде равновесия и неравновесия. Последнее, может быть, не менее, если не более важно для мира. Я подолгу следил за тем, как пресные воды Нила вливаются в соленые Великого моря. На зыбкой линии или грани этого неравновесия между соленым и пресным, горячим и холодным, медленной ширью и быстрым падением вод рождается не только новая струя, поток, течение, а вообще расцветает жизнь.

Я пытался уловить момент рождения воронки, начертить эту суживающуюся спираль, которая как бы ввинчивается вглубь. В живой форме этой воронки своя гармония, но, может быть, иного мира.

Это мучит меня, но с момента лишившего меня речи тяжелого косноязычия я интуитивно чувствую ось такой воронки и другой, которая схлестывается с первой, срезает ее или мягко вворачивается в нее.

Я думаю, что благодаря этому чувству оси равновесия я так устойчив на колеснице, когда в гоне по кочкам она даже встает на одно колесо».

«Только этого не хватало, – думает Итро, – оказаться с этим безумцем на колеснице, вставшей дыбом».

На самом деле Месу довольно бойко, но осторожно ведет колесницу вверх по скальной дороге, более похожей на редко посещаемую тропу. Совсем отстав, примостившись на двухместной колеснице втроем, боясь оступиться с каждым лошадиным шагом, с трудом справляющие колесничье дело и на ровном поле, ползут сзади охранники. Они так и застрянут на полдороге, то ли ось у них сломается, то ли лошадь ногу подвернет, и вольно будет говорить Итро с Месу на жарких этих высотах, удалившись вверх по течению от порога в то место, где воды спокойны и гладки, текут себе, как бы и не подозревая, какое крушение и провал их коварно поджидает.

– Косноязычие изводит и унижает. Но общение при помощи письма не менее опасно. Не оттого, что запись – всегда улика, хотя и это не стоит сбрасывать со счета.

Дело в том, что даже боги и демоны не обязаны знать сокровенную тайну души, в которой скрыта сама суть существования человека. Вспомни: повелитель миров, отец твой и дед, пишет редко и только под диктовку самого бога Амона-Ра. Знай же, предавать папирусу следует лишь то, что выношено всей твоей сутью, взвешено на весах души, способно к лучшему изменить пути мира и жизни.

Давно сам Итро не ощущал такого чувства раскованности и внутренней свободы и за это благодарен Месу. Более того, мгновениями собственные слова кажутся ему какими-то блеклыми и незначительными, стоит вспомнить тексты, начертанные рукой этого молодого человека, который, не отрывая глаз от гладко текущих вод, медленно ведет своих лошадок под уздцы обратно, в сторону порога.

Покой и изобилие принес стране Кемет повелитель миров, твой отец и дед, хвала ему и слава за это. Но горе окружающему нас миру. Он потерял бдительность, как теряют душу, – ищет лишь удовольствий без счастья, счастья без знаний, знания без мудрости.

Мир этот похож на страуса, который прячет голову в песок, чтобы не видеть. В лучшем случае мир этот затыкает уши. А ведь покой, в который мы погружены, мним и ненадежен, – говорит Итро.

Месу присел у края вод. Еще далеко до порога, но в гладких водах начинает ощущаться возбужденность, возникают буруны и тут же исчезают, в разных местах чувство тревоги пробегают внезапно и коротко трепетной морщью.

Испытывая внутренне неудобство на грани закипающей злости, Итро пытается понять, стоило ли столько времени переться в такую даль, мучая гребцов, ради такого краткого, пусть и важного наблюдения. Себя он уже в счет не берет, ибо, во-первых, сам виноват: нечего было петухом высказывать перед дочерью повелителя; во-вторых, где-то в глубине души крепнет отгоняемое им, как назойливая муха, ощущение, что с этой поездки и всего, что в ней происходит, многое в понимании жизни его, Итро, коренным образом изменится. Именно это отгоняемое им ощущение уже овладело его речью и несет его неуправляемо к взлету или крушению, как воды Нила к порогу:

О, этот миг на берегу моря... Поднял глаза и внезапно видишь: все пространство покрыто возникшими как бы из бездны кораблями неприятеля. Гибель твоя перед глазами твоими, и не успеешь спастись.

Это не выдумка. Шесть столетий назад был такой миг: не успел оглянуться, хлынули полчища с севера. Колесницами их, запряженными множеством коней, массами пеших воинов с

новейшими луками были полны долины и пустоши за горькими озерами. Но взгляд сновидцев страны Кемет мечтательно скользил поверх горизонта и их не замечал. И не думай, что толкователи снов, подобные мне, да и лазутчики, не предупреждали. Однако верят лишь своим, хотя они и близоруки, но не чужакам, как меня называет Анен...

Месу вздрагивает, вспомнив свои размышления о народах моря, внезапно возникающих из волн, как из кратера вулкана, и впервые услышав имя «Анен» без приставки «великий». Это не ускользает от внимания Итро:

А ведь чужаки не только те, кто родился в других краях. Это и те уроженцы Кемет, которым не изменяет чувство реальности, а врожденное достоинство не позволяет поддаваться всеобщей истерии и пресмыканию перед властью, которая, оказывается, завтра может исчезнуть. И хлынут эти полчища гиксосов, царей-пастухов, и затопят Дельту, разорят, растопчут, уничтожат целый прекрасный, но незнакомый им и потому враждебный мир. На обломках его и развалинах возведут они свои города и – это не шутка – более двух столетий будут властвовать. И сильно нарушат не только политическое, но и моральное равновесие всего процветающего Полумесяца до самой Передней Азии.

Теперь уже воды бурлят всюду, мечутся, сталкиваются, словно пытаются сами не зная от чего спастись. Гул водопада сотрясает воздух, раздувает страхом ноздри лошадок, еще миг, и ты рушишься вниз навстречу гибели или обновлению. Итро и сам возбужден, говорит не переставая, не в силах себя сдерживать, и в то же время понимая, как больно молодому человеку, который не может раскрыть рта, слышать человеческую речь.

– Удивительно то, что гиксосы никакой зримой памяти о себе не оставляют. Никаких выдающихся сооружений или памятников, никаких письменных упоминаний о своих царях-тиранах. После поражения, которое нанесли им пришедшие в себя через поколения сыны Кемет, они почти мгновенно исчезают. Растворяются в истории так же, как и возникли. Они тоже чужаки, но в их руках была власть, грубая и жестокая, потому перед ними пресмыкались, им пели хвалебные гимны. Пресмыкание – вот единственное наследие, внедренное ими в чернь страны Кемет, которая может быть и во дворце.

Но провидящий, да еще говорящий правду, – чужак среди своих. Он иной. И говорю я это тебе потому, что ты – иной. Это видно невооруженным глазом. Скажи мне, внук и сын повелителя миров, не ощущаешь ли ты нередко своей как бы *вторичности*, непринадлежности окружающему тебя миру?

Месу не отвечает, Месу вскакивает на колесницу, подает руку Итро, который едва успевает за нее ухватиться, и уже летит вниз колесница, подобно водам, летящим с высоты. Дух заходит у Итро: этот мальчишка принял его, несмотря на возраст, за равного соучастника в опасных играх. Охранников с расширенными от страха глазами, замерших вместе с колесницей, Месу буквально огибает по воздуху. И внезапно Итро и вправду ощущает спадающие с плеч, как ткани одежды, годы; незнакомая, внезапно обретенная от этого юноши легкость позволяет ему балансировать на углой площадке да еще почти кричать в ухо безумному колесничему:

– Я давно слежу за тобой, сын и внук наместника Амона-Ра на земле. Я умею читать по лицам: на твоём всегда наивное удивление всему, что тебя окружает, – одеждам, пирамидам, циклопическим дворцам.

А ведь ты сын дочери правителя миров. Но нет, это не удивление, а чувство *вкорененной чуждости*, как будто ты из иного, самому тебе неведомого мира.

Вот и кораблик, милое прибежище покоя. Почти свалившись на палубу, Итро долго утоляет жажду в удивительно прохладных, едва веющих после безумной скачки сумерках.

А Месу уже в каюте, зажег светильник, пишет.

Совсем поздно, вконец обессилевшие, приползают охранники, лошади-то у них неприученные, наверх еще кое-как двигались, а под откос ни за что. То-то была поездочка.

На раннем рассвете кораблик снимается в обратный путь. Гребцам праздник: вниз по течению им-то и делать нечего.

Итро на палубе под зонтом, читает новые строчки Месу:

«За более чем сто метров до обвала воды начинают испытывать беспокойство: торопятся, прыгают, пускают струи в обратном направлении, будто хотят сбежать от неминуемого, бурлят.

Что это? Предчувствие падения?

Предчувствие грандиозности ожидаемой новой жизни?

Выход из такой приятной глазу, но смертельно сковывающей тиши да глади?

Не таково ли предчувствие прорыва к свободе, о которой наши учителя так мечтали в молодости и иногда вспоминают в старости?»

Намек понят. Пользуясь тем, что охрана да и охраняемый спят без задних ног, закинув на плечи края хитона, как взваливают старость на спину, Итро кряхтя спускается в свою каюту и профессионально на пламени светильника сжигает текст, чтоб осторожно развеять его по ветру в утренних сумерках.

4. Волны моря, стирающие второстепенное

Дочь правителя миров, мать Месу, просит Итро срочно явиться к ней.

– Наместник Амона-Ра на земле проявляет нетерпение, – мягко говорит она, – охрана валится с ног. Те, кого посылают охранять Месу, принимают это как наказание. Я его совсем не вижу. Есть ли сдвиги?

«Нетерпение? – размышляет про себя Итро. – Видно, изверг не на шутку рассержен. Меня ведь и вовсе не призывает для советов, хотя положение дел не из лучших. Ну и ввязался же ты в дело, Итро. Сидел бы тихо, тебе же скоро срок отправляться домой, как бы не отправили тебя в другой дом или в другой мир. Охрана устала? Просто ни слова не удалось подслушать? Это же недопустимо, это провал всей системы сыска и фиска. Ай да Месу, дьявол этакий. Мерзких доносчиков только так и можно проучить, комар носа не подточит. До поры до времени».

Вслух говорит:

– Слишком мало времени прошло. Что такое две недели в сравнении с полугодом внезапной немоты? Я ведь не волшебник, но я почти уверен, что смогу его вылечить. Необходимо лишь время и терпение.

– Через неделю праздник с восхождением к пирамиде Хуфу. Хотя бы приведите его. Он же вообще перестал ходить на храмовые службы, не говоря уже о школе.

– Это я обещаю.

«Ты глупее пробки: самого себя обратить в заложники этого неуправляемого юнца, неизвестно почему пораженного косноязычием. Откуда в тебе эта гибельная самоуверенность в том, что ты вылечишь его?» – сокрушается про себя Итро, выходя из покоев дочери повелителя миров и ощущая враждебные взгляды всей этой охраняющей и подслушивающей шушеры: еще бы, чужак, дохлая мышь, а водит за нос вместе с этим принцем, черт его дери, несомненно подкидышем, самого наместника бога Амона-Ра, великого покровителя соглядатаев, доносчиков и телохранителей.

Подлетевшая колесница чуть не сбивает Итро с ног. Рука Месу почти на лету подхватывает его. Ну и силен же этот безумец. Ну и хитер. Иногда Итро кажется, что этот внук повелителя миров разыгрывает всех, ибо ему выгодно быть немым и выделывать черт знает что.

Ветер, обтекающий мчащуюся колесницу, до того горяч, что, кажется, обжигает внутренности при вдохе.

Над страной Кемет свирепствует хамсин. Сквозь пепельный слой пыли, который, по сути, и есть небо, изредка пробивается тлеющий, как головня, красный диск. Пространство подобно

сухой, но не вспыхивающей сере, и кажется, мир мертвых выпростался из-под земли и надежно обосновался на поверхности, заменив живой. Печаль и замкнутость окутывает тяжким жаром человека в лежбище дома его. Спасает баня, где жарко, но влажность дает чувство облегчения от раскаленного снаружи воздуха.

После полудня поднимается ветер с моря, и потому Месу гонит колесницу к берегу, к пустынному дворцовому пляжу. Охрана не столь расторопна, тем более что внук повелителя все время меняет направление скачки, несясь по каким-то одному ему известным переулкам и улочкам, благо они пусты: все в домах подышают от жары.

Охрана же пляжа издали узнает сумасшедшую колесницу, заранее распахивает ворота.

Колесница с разгону стопорит под огромным, продуваемым ветром с моря пологом. Лошадки жадно пьют воду из бочки. Месу сидит на песке, пьет из бурдюка, удивленно воспринимая молчание всегда говорливого Итро. Его, Месу, конечно же, интересует разговор с матерью. Но Итро, захваченный врасплох всеми событиями этого дня с утра, сидит на песке, тоже пьет из своего бурдюка, палочкой, подвернувшейся под руки, чертит что-то на песке, ухмыляясь про себя: охрана, видно, еще мечется в поисках этого ненавистного ей принца.

Итро говорит:

– Положим, эта палочка – хартом писца. Но для письма не на папирусе, а на песке. Самое главное должно произвольно закрепляться в памяти, а затем стираться языком природы – волнами моря.

Внук и сын повелителя миров, иногда следует отбросить ложную скромность, и потому я, всю свою жизнь посвятивший языкам и письменности, говорю: дана тебе незаурядная способность нащупать и осознать внутренние законы возникновения и развития письма. Трудно поверить, но ты в кратчайший срок познал в языках то, к чему я иду всю свою жизнь. Ты свободно владеешь письмом двух великих держав – страны Кемет и страны Двуречья – иероглифами и клинописью.

Отлично помню твои слова, сказанные на одном из моих уроков до того, как поразило тебя тяжелое косноязычие. Ты сказал примерно следующее: «Ощущение такое, что заставленность Дельты, этой лавки древности, породила иероглифическую тесноту, плотность, медленность, неповоротливость письма».

Это было настолько непонятно остальным ученикам, что они просто пропустили мимо ушей. Я же – человек пустыни, у меня особо острый слух, и я знаю, что *пустыня требует скорописи*.

Но острый слух не менее важен в дворцовых покоях и коридорах, чтобы быть настороже и улавливать любое шевеление вблизи. Каждый раз, оглядываясь, я читаю удивление в твоих глазах. А между тем выражение «стены имеют уши» для царского двора самая обычная и омерзительная реальность.

Наконец появились две колесницы с охранниками. Даже не приблизились, а, спешившись у входа на пляж, пошли в домик к местной охране, отдышаться и напиться воды. Белевые волны огромной высоты, заборы вокруг необъятного пустого пляжа и приказание начальства держаться от ненормального на почтительном расстоянии несколько облегчали их тяжкую службу ничегонеделания.

Месу распряг лошадок, повел их в конюшню, к лошадям охраны, дать им поесть сена, вернулся, долго пил стоя из бурдюка, затем сел на песок вплотную к Итро. Неожиданные уходы и приходы Месу, прерывающие Итро на полуслове, уже не изводили его, как в первые дни: он знал, это вызвано внезапно подкатывающей к горлу юноши горечью и желанием каким-либо действием изменить свое состояние.

– Так, вероятно, угодно небу, – медленно начинает Итро, тоже отпив из бурдюка, – но случай выдался единственный в своем роде: ты обречен какое-то время на молчание, а то, что я говорю, становится достоянием нас обоих. Я и так уже сболтнул лишнее, за которое ни

мне, ни тебе не снести головы: мне за сказанное, тебе за то, что слушал и не донес. Потому с момента уединенных наших занятий мы уже повязаны нитью, и на ней подвешены обе наши жизни. Нитку держит в пальцах твой отец и дед. Стоит ему пошевелить мизинцем, и нитка оборвется.

Может показаться, что сказанное не имеет никакого отношения ни к твоему косноязычию, сын и внук повелителя миров, ни тем более к языку и письму.

Так вот, знай – самое прямое.

По земным законам у повелителя поднебесной Кемет, вероятно, есть право выбирать подходящую ему правду жизни, по-своему выстраивать историю. Но по законам неба даже ему не дано права искривлять ложью юношескую душу, которая нуждается в истине, как легкие в чистом воздухе.

Официальным и строго охраняемым законом в стране Кемет является иероглифическое письмо и жреческая скоропись на основе тех же иероглифов. Горе тому, кто ставит это под сомнение.

Но мало кто знает, а если бы и знал, поспешил бы забыть об одном заброшенном богами месте на севере, по ту сторону Тростникового моря. Место это я пересекал не раз, пешком и на верблюдах. Иногда даже останавливался на несколько дней по дороге в Мидиан и обратно, в Кемет.

– Что это за место и где оно? – внезапно и нетерпеливо, заикаясь, выдавливает из себя Месу одним выдохом.

От неожиданности не зная, как среагировать, Итро опять припадает к спасительному бурдюку, а в голове мечется: «Неужели и вправду он водит всех за нос? Но ведь заикается, задерживает дыхание, старается выпалить слова на одном дыхании. Все признаки заики, но нет немоты. Просто стесняется при людях рот раскрыть. Ко мне, вероятно, испытывает доверие? Благая весть в этот невыносимо жаркий день. Но мне ведь не привыкать. Я не египтянин, а человек истинной пустыни».

5. Заключение в копиях. Святилище богини Хатхор

– Сын и внук повелителя миров, я незнаком с картой к звездам или дорогой в преисподнюю, в страну мертвых, – начинает Итро, придя в себя, – но живая дорога к моей родине, к Мидиану, начертана в моей памяти навечно.

Итро столь же внезапно и нетерпеливо, как это делает Месу, с непривычной для него горячностью начинает чертить на песке:

– Туда легче всего добраться по воде через самое восточное ответвление Нила во время его разлива, затем – через Горькие озера и дальше по Тростниковому морю. После недели плавания выходишь на побережье Мидиана. По суше добираться туда намного труднее. Но мне-то позарез нужно то забытое богами место.

Вот, будь внимателен, мы с тобой находимся в этой точке. Отсюда рукой подать до крепости Чеку на северной границе Кемет. Здесь, южнее малого Горького озера, при сильном ветре воды заливают сушу, но не стоят долго, как в Ниле, отступают на глазах. Прошел эти плоские земли, и сразу – подъем: перед тобой дорога к горе Сеир, почти прямо на восток, самая короткая – две недели ходу до Эцион-Гавера, а там недалеко и Мидиан. Но дорога нелегкая: все время пересекает глубокие сухие русла, которые внезапно могут хлынуть водами дальних южных ливней. Попадешь в поток – костей не соберешь.

В обычное же время – смертельная сушь. Нет оазисов.

Но есть другая дорога, намного длиннее, до Мидиана добираться пять недель, а то и более: пересек те самые плоские земли, заливаемые водами при сильном ветре, и на юг, вернее, на юго-восток, вдоль восточного берега Тростникового моря. Тут часты оазисы: пальмы и

источники. Идешь или покачиваешься на верблюде, а по левую руку тебя сопровождают мерцающие в мареве те самые невысокие горы по дороге на Сеир. И вот здесь, примерно после пяти дней ходу, в склонах этих гор видишь копи, напротив которых на берегу гавань. Через нее вывозят добываемые здесь медь и бирюзу.

Потрясает глубокое ущелье, ведущее к тем копиям: сверху донизу стоны его исчерканы именами тех, кто здесь проходил испокон веков, тысячи тысяч врезанных в скалы имен.

Не отрывая от этого глаз, не ощущая страшного пекла, в сильнейшем волнении приближаешься к полувырубленному в скале, полувыстроенному небольшому и вовсе не роскошному храму.

Это святилище богини Хатхор, которое возвели добытчики, люди отверженные, обреченные, рабы, узники тюрем, ссыльные. В этот полуденный час от пекла тускнеют добываемые в копиях медь и бирюза.

Добытчики ловят глоток прохлады в храме, ставят богине новые алтари, без всякой надежды пишут ей жалобы, упоминая приносимые ей жертвы.

Но каким удивительным письмом...

Возникло оно не так уж давно. Быть может, пару столетий назад, и именно на этих копиях – тут нет сомнения. Но кто-то же был первым, кому в голову пришла божественная идея этого письма.

Не свалилась же она с неба. Хотя кто знает?..

Итро долго пьет из бурдюка, краем глаза замечая непривычно сосредоточенный на нем, почти оцепенелый взгляд Месу.

Один из охранников по имени Яхмес, издали заметив опустошенный бурдюк Итро, несет другой, полный. К удивлению Месу, Итро не стирает начертанное на песке, с благодарностью принимает полный бурдюк от Яхмеса, делает еще пару глотков и продолжает:

– Получаю разрешение от охраны, добираюсь до храма. Не думаю о времени, об еде и питье. Падая с ног, пристаю к добытчикам.

Лихорадочно, отчаянно, почти в безумии, пытаюсь узнать, откуда, как и когда возникло это письмо, кто первым начертал эти знаки. По доброте своей, как все сильные, но отверженные люди, они искренне пытаются мне помочь, но всё зря.

Даже самые старые добытчики, которые зубы искрошили в этих копиях, помнят одно: еще их отцы, вечные каторжане этих мест, писали такие знаки.

С другой же стороны, простота этих знаков несет в себе тоску добытчиков по обычной человеческой жизни. Вот эти знаки, гляди: бык – *алеф*, дом – *байт*, дверь – *далет*.

У них ведь ни быка, ни кола, ни двора, ни дома своего, ни верблюда, но вот он – *гимель*.

Простота простотой – откуда же этот знак, как вздох, выдох самой гортани, начало жизни, само небо, божество – эй? Или вот, ладонь, поднятая к небу, – *каф*; вода, суть жизни, ее волнообразное течение – *мем*.

Письмо это – настоящий бунт против официальных державных письменностей. Но творцам этого письма и терять было нечего: ведь самое страшное наказание в любимой всеми нами стране Кемет после смертной казни – ссылка на эти копи или в каменоломни, где в поте лица своего обреченные извлекают огромные сколы гранита для еще одной очередной статуи повелителя миров, твоего отца и деда. И знаешь ли, я думаю: величайшие по простоте идеи могут возникать только в такой отверженной, но лишенной даже капли лицемерия, страха, ханжества среде.

Конечно же, творцы этого письма знали иероглифы, как-то от них отталкивались, но, и это главное, вовсе не испытывали священного трепета перед ними.

– Кто они? – Неожиданно металлические нотки в голосе сына и внука повелителя миров скрывают охватившее его смятение.

– Хабиру, ибрим. Из племени семитов, кочующих на севере до дальних пределов Сирии, – говорит Итро, и от него не укрывается внезапно залившееся потом лицо Месу, до сих пор сухо плававшее в послеполуденном жаре, несмотря на полог.

6. Письменность, превращающая камень в живое растение и дающая побеги слов

– Ты, который отлично знаешь иероглифическое письмо, поймешь величие нового письма, только благодаря страху и запретам не проникшее в державы Нила или Двуречья.

Медь мы в иероглифическом письме должны пользоваться разными знаками для слов, одинаковых по звучанию, но разных по смыслу. Тут же каждое слово сведено к трем замковым знакам, замыкающим любое выдыхаемое голосовое движение.

Это даже не слово, а его твердый скелет, этакий ноздреватый камень.

Голосовые изменения превращают этот камень в живое растение, дающее побеги слов.

Мот пример наиболее употребляемого гнезда слов у добытчиков меди и бирюзы: *шомер* – охранник, страж; *шмира* – и охрана, и талисман, амулет от богини Хатхор; *лейл шимурим* – ночь бдения той же богине; *мишмар* – караул и тюрьма; *мишмерет* – вахта и в то же время заповедь.

Знаки эти легкие, словно бы родились быть начертанными на папирусе, а не врезанными в камень. Когда это осознаешь внутренне, понимаешь: письму этому принадлежит будущее, а иероглифы и клинопись во всем своем блеске и силе внезапно являют свою громоздкость, ту самую замеченную тобой неповоротливость и тесноту письма.

7. Взлет к надежде и падение в бессилье

Месу осторожно берет из рук Итро палочку, стирает все начертанное учителем, проводит кривую – подобие волны со стрелами сил, несущих ее понизу.

Пишет сбоку, что кривая эта открылась ему формулой человеческой жизни, а может, и всей истории, во время их короткого учебного плавания на корабле по морю, явилась для него потрясением, не меньшим, вероятно, чем открытие учителем нового письма.

Это чередование взлета надежды и падения в безнадежность он ощущает в последние дни, пытаюсь вникнуть во все сказанное учителем.

Он, Месу, не может дать себе отчета, с чем связано это чувство.

Одно он знает.

Волна на подъеме идет понизу мощным донным током, а на спаде – сильным оттоком: взлет надежды порождает колоссальный выброс энергии вперед, в грядущее.

Падение же порождает бессилие, понижение энергии жизни.

Неужели он сам пришел к этой формуле, или что-то подобное открыто кем-то другим?

Итро, напряженно читающий начертанное Месу, берет из рук его палочку, несколько видоизменяет кривую, стерев окружающие ее записи, нарушает затянувшееся молчание:

Если, миновав Мидиан, продолжать плаванье на восток, там, за морем, много более великим, чем это – перед нами, на гигантской суше живут смуглые люди. Мудрецы их могут останавливать у себя дыхание и даже сердце и вновь возвращаться к жизни, потому что знают секрет энергии, таящейся, подобно свернувшейся в кольцо змее, в нашем теле, в области крестца. Они умеют эту змею разбудить, и тогда, поднявшись к сердцу, к горлу, к голове, она выглядит так.

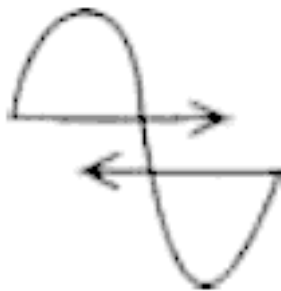


Рисунок Месу

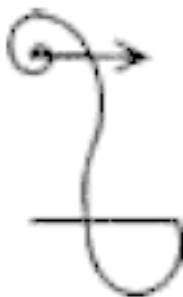


Рисунок Итро

8. Хабиру-ибрим

– Кто они, эти хабиру-ибрим? – говорит Месу, на этот раз сильно заикаясь, но не от косноязычия, а от отвращения к мерзкому чувству, въевшемуся в него, как и во всех представителях высшего света страны Кемет, – презрительному отношению к чужакам, плененным, пришедшим, просочившимся из-за кордона, осевшим и даже преуспевшим, но всегда чуждым и презираемым, если не открыто, так тайно.

– Об этом семитском племени можно говорить весьма приблизительно. История их обросла массой баек. Их рассказывают в оазисах и постоянных дворах вдоль дорог в северных пустынях.

Само это уже говорит об их необычности.

В кочевье они чувствуют себя как дома, дорожат внутренней духовной свободой, которая возможна только в пустыне, один на один с пространством, небом, одиночеством, легкостью духовного бытия, но и с трудностями бесконечного кочевья.

Они храбры, иногда до безумия, потому часто становятся воинами. Но та самая внутренняя свобода ведет их в морские пираты и дорожные разбойники.

Можешь себе представить, что с ними происходит, когда они попадают в страну Кемет, то ли как пленные рабы, то ли как бегущие от голода? Их ссылают на самые тяжкие однообразные работы: в копи, в каменоломни. Страна Кемет, огромная, богатая, роскошная, притягивает их и отталкивает одновременно. Они привыкли в кочевье к жизни простой и жесткой, и потому им отвратительны потрясающие огромностью и роскошью дворцы и храмы. Им нельзя этого простить, но понять их можно.

– Выходит, они не любят м-моего отца и д-деда? – в заиканье Месу опять ошутима властная металлическая нотка.

– А за что им его любить? Он считает их низшими созданиями на уровне скота, он привел к тому, что молодые хабиру в отличие от храбрых предков превратились в трусливые существа. Прости меня, но повелитель миров, мягко говоря, психически неуравновешен. Когда им овладевает мания преследования, он прислушивается к советам самых глупых и потому злобных

своих жрецов. И этот сентиментальный любитель животных дает время от времени указание топить еврейских младенцев.

– Это пра-а-вд-да? – дрожа всем телом, говорит Месу.

– Взгляни на стражника, который принес мне бурдюк с водой. Зовут его Яхмес. Это храбрый воин, который видит во мне своего исповедника, предан мне душой и телом. Так вот, он из младенцев-хабиру, которых отобрали у обезумевших матерей. На самом деле, – продолжает Итро, – большинство из них не бросили в Нил, а тайно увезли в дальние храмы, сменили имена и воспитали из них верных псов правителя – не только храбрых воинов, но и изоощренных доносчиков.

Некоторых из них эта тяжелая внутренняя раздвоенность привела к душевным болезням. Вот почему Яхмес обратился ко мне. Ведь он приставлен следить за мной. И только на честность его я и могу полагаться. Знаешь, чего ему это стоит!

Ведь это твой отец и дед, которого он боготворит, велел ему неукоснительно следить за мной. Твой отец и дед заставил меня покинуть семью и детей. Да, он великодушен, позволяет нам в Мидиане растить верблюдов и овец, смотрит сквозь пальцы на то, что мы сдираем налог с караванов, идущих с севера в Кемет, хотя это открытый грабеж. Но упаси меня бог богов Амон-Ра перечить ему или попасться на язык гниды-доносчика. Это конец.

Месу вскакивает, убегает к своим лошаденкам и колеснице в конюшню.

Серое небо почти волочится по песку и волнам.

Встревоженный Итро выпивает и второй бурдюк. А Месу все нет. Беспомощно смотрит он на бегущего к нему Яхмеса.

– Этот ненормальный ускакал неизвестно куда, – задыхаясь от бега, говорит Яхмес, – за ним два охранника на колеснице. Я вас подвезу, учитель. Идти пешком в такое пекло и в такую даль – отдадите богу душу.

9. Миф – вечный мавзолей

Вот уже неделю длится жестокий хамсин. Заброшенный в своих четырех стенах, Итро никуда не выходит. Дворцовый служка приносит ему питье и еду. Испуганный взгляд этого существа не предвещает ничего хорошего. Никто не вызывает Итро во дворец. В школе каникулы. Даже Яхмес не появляется. Не предал ли он Яхмеса, выдав его тайну Месу?

Итро плохо спит по ночам, ожидая стука в дверь, почти уверенный, что за ним должны прийти. Они же только по ночам работают, эти мерзавцы: человек, вырванный из сна, захваченный врасплох, доставляет им высшее наслаждение от сделанной работы.

Может, вся эта история с Месу с самого начала задумана неутомимым извергом, чтобы рассчитаться с Итро: слишком часто этот повелитель мира, блуждающий в потемках, нуждался в его советах – такое не прощают и более мелкие палачи. Но что Месу, этот гениальный мальчик, тоже его пособник? Если это так, то рухнули последние столбы, на которых держался мир Итро. После этого стоит ли вообще жить?

И тут, очень кстати, является Яхмес. Командир и вправду запретил ему видаться с Итро, но сегодня приказал проведать. «Надо же, – думает Итро, – какой-то плешивый главарь доносчиков и тоже мне – командир».

Между тем Яхмес рассказывает, что впервые после многих недель Месу на днях вышел к матери на крышу дворца. Более того, он подждал Яхмеса в темном коридоре, просил передать Итро эту трубочку папируса.

«Вот хитрец. Это ведь плата той же монетой за то, что не стер с песка знаки, когда Яхмес принес мне воду», – думает Итро, разворачивая папирус. Оказывается, на нем записано главное, что этот молодой человек запомнил из слов его, Итро, о пирамидах.

«Завтра торжественное шествие к дому Хуфу, и я обещал матери участвовать в нем. Она счастлива. Я еще сильно заикаюсь, но хотя бы перестал стесняться открывать рот, несмотря на хихиканье за моей спиной.

От матери я узнал, что вы обещали меня вылечить. Мне-то вы об этом не сказали. Ну да ладно...

Но вылечить? Не слишком ли это самонадеянно с вашей стороны, уважаемый учитель?»

Каков гусь, какой тон, но ведь прав. Ну не дура ли, мамаша его? Сказать ему о том, что должно было быть нашей общей с ней и с извергом тайной.

У меня с ним общая тайна. С ума сойти.

«Перед завтрашним шествием я решил припомнить, хотя бы частично, то, что вы говорили мне о пирамидах. Это всего лишь еще одно упражнение на запоминание».

По-моему, прямая угроза. Мол, следующий шаг может быть упражнением на доносительство, не говоря уже об упражнении в стрельбе из лука с колесницы по оставленным без помощи старикам или всяким там чужеземцам.

Остановись, Итро. Умерь фантазию. Посмотрим, что же он там запомнил.

«...Многие годы я пребываю здесь советником при повелителе миров, редко отлучаясь на далекую мою родину, в Мидиан, проведать семью, дорожке которой для меня никого на свете нет».

Это я так говорил? Твоими устами, юнец, мед бы пить, да они источают яд. Как же я так оплошал: собирался лечить его, а сам раскис. И слова-то какие: как будто я молю этих истязателей в пыточной камере о снисхождении.

«Но по сей день потрясают меня эти пирамиды. Кажется, они растут от самого основания мира. Колеблются буйми вечности в водах времени. Время это вблизи пирамид кажется скоплением мировой усталости. Гигантизм поражает душу, но с ним можно постепенно свыкнуться. Время же искрошило свои зубы об эти пирамиды, но оставило лишь следы укусов. В конце концов оно смирилось с Невероятным упорством этих каменных чудищ».

Боги милосердные, неужели это я говорил так красиво? Язык отрубить мало.

«Стою у пирамид, думаю: вот осязаемые на ощупь каменные громады. Представляют они призрачный и потому мучающий своей таинственностью и абсолютным отсутствием мир, хотя на стенах этих лабиринтов мы видим самые обычные сцены земной жизни – утренний туалет, выпечку хлеба или строительство здания.

Что осталось от того мира? Всего несколько звуков, уже странных для живого уха, – имена погребенных здесь властителей: *Хуфу, Хафра, Менкаура...*

Они лезли из кожи вон, чтобы застолбить свое присутствие за пределами жизни, но имена их ни о чем не говорят.

Более говорят имена великих, растворившихся в легендах, чье место погребения неизвестно.

Ибо миф – это воистину вечный мавзолей».

Не так уж плохо, Итро, дьявол бы тебя побрал за недержание речи. Ты же не оратор, ты знаток письменностей. Самое страшное – не помню, говорил ли я именно так и именно это. Не может быть, чтобы я до такой степени не узнавал собственных слов, хотя в общем все мыслится мною именно так. Может, этот юный гений такой же безумный фантазер, как и колесничий. И все же, можно ли познать мир, балансируя на одном колесе?

«Гигантизм пирамид ставит в тупик обычное человеческое сознание. Создатели их, верно, именно к этому стремились. Хотели доказать, что строили их впрямую по указанию богов как знаки продолжения этого мира в потустороннем. А ведь, по сути, пытались бороться с ожидающим их забвением да еще вознамерились направить будущее мира по собственному пути.

Такие совершенные по строительству, форме, колоссальности творения выглядят как обломки ушедшего мира».

Признаться, Итро, впервые за долгую жизнь ты считаешь собственные, нередко банальные слова с чужой памяти, и что сказать: видно, истинное твое призвание – толкование снов сильных мира сего, ну, и спасительные советы. Беда в том, что ты не можешь удержаться от велеречивости, этого гнусного словесного нарциссизма. И это всегда тебе мстит.

«Все же надо сказать, что создатели пирамид ухитрились коснуться самой сокровенной струны человеческого любопытства. Забросить в вечность вызывающую постоянное нервное напряжение загадку жизни и смерти.

Но у меня – сознание *пришлого*. И в нем все это бледнеет перед чем-то иным, к чему я ощущаю свою принадлежность.

Ты же родился в этой стране, но я знаю, как ты принимаешь мир этот. Для тебя он подобен помещению пирамиды, где все по-бытовому реально, но – для загробного мира.

Лавка древности».

Нет, но я отлично помню. Это он, тяжело заикаясь, выдал: «Лав-к-к-а д-древности». Теперь у меня нет сомнения: он приписывает мне свои слова. Но зачем? Этот папирус понятен лишь как донос. Ну ладно изверг, но почему дочь его больше не призывает меня к себе? Смирись ли они с его косноязычием, или меня еще ждет расплата за пустые обещания, которых никто от меня не требовал, и за мой длинный язык?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.